Игорь Соколов

# ДВОЕЖЕНЕЦ

Игорь Соколов

# Двоеженец. Роман

«Издательские решения»

**Соколов И. П.**

Двоеженец. Роман / И. П. Соколов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-741110-7

Роман представляет собой детективную историю и одновременно любовную фантастическую трагикомедию. Главный герой теряет свою возлюбленную в автокатастрофе и, пройдя множество жизненных испытаний, становится в финале романа счастливым двоеженцем. Одновременно с этим он сталкивается и с паталогоанатомом-некрофилом, и попав в фантастический мир маньяка, добивается помещения его в психиатрическую больницу.

ISBN 978-5-44-741110-7

© Соколов И. П.
© Издательские решения

# Содержание

Рецензия Аарона Грейндингера 6
От автора 9
1. Гера, давшая смысл и его забравшая снова 10
2. Жизнь на грани фола, или Что лучше: смертью унесенная любовь или убитая разочарованием? 16
3. Мой маленький дружок – великий Бюхнер 19
4. Когда прощание с землей не состоялось 22
5. В рудеральном мире людей и растений, или Странное число «777» 25
6. Со мною кто-то тайно говорит, а мною кто-то тайно управляет 30
7. Тема лекции: Проблема Трансцендентных явлений в современной психиатрии 37
8. Воспоминания о Гере 41
9. Патологоанатом – некрофил или осквернитель праха Геры 45
10. Исповедь патологического анатома, или Фантом оживающей в спящих красавицах Эльзы 51
Конец ознакомительного фрагмента. 55

# Двоеженец
# Роман

## Игорь Павлович Соколов

© Игорь Павлович Соколов, 2017

ISBN 978-5-4474-1110-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

# Рецензия Аарона Грейндингера

ФОКУС ОБНАЖЕННОГО ГЕРОЯ

От «Золотого осла» Апулея до «Лолиты» Набокова расстояние в две тысячи лет, однако все эти романы, как и «Двоеженец» Соколова объединены темой всепоглощающей любви и бурной страсти, ведущих героев этих произведений через множество метаморфоз. Весьма значителен и эротический полюс этих романов, ставящих перед читателем множество вопросов метафизического свойства.

И на самом деле, какая может быть разница между любовью чистой и грязной, любовью духовной и физической?! И может ли чувство быть тождественно полноценным самому половому акту или телесному соприкосновению, или просто духовному проникновению друг в друга?! Где находится граница между прошлым и будущим, и какая может быть разница между русским и евреем?

Может ли быть тебе другом тот, кто обладал твоей женой? И можно ли любить двух женщин сразу и ни одной при этом не изменить?!

Когда читаешь эту книгу, то задаешься множеством вопросов, книга словно невидимой дланью направляет твой взгляд в несуществующие дали, где и возникают вместе с образами героев те самые вопросы, о которых я сейчас говорю. Вместе с тем, роман «Двоеженец» нельзя оценить однозначно, слишком много возвышенного и светлого в нем переплетено с грязным и пошлым, и даже сакраментально патологическим, как будто нарочно извращенным, вывернутым наизнанку. У одного древнегреческого мудреца – Хилона – было правило: «Ничего чрезмерного!» Однако, если внимательно приглядеться к героям романа и их видениям, и поступкам, то понимаешь, что автор умышленно заставляет читателя кружиться в бесконечности Абсурда то с главным героем Аркадием, то с несчастным патолого-анатомом-некрофилом Штунцером, причем, иногда грань между реальным миром героя и фантастически параноидальным миром Штунцера как будто исчезает без следа, и ты весь находишься как бы в пустом, постоянно возникающем и тут же исчезающем пространстве, заполненном множеством черных комнат с черными гробами на столах, где возбужденные от ненасытной любви ожившие покойницы опять ожидают заблудившегося в этом страшном лабиринте Штунцера. Получается так, что автор в противовес Хилону действует совершенно по противоположному правилу, гласящему: «Все чрезмерно!» Автор словно пытается донести до читателя свою универсальную формулу восприятия: жизнь бессмысленна, но ее Абсурд почти всегда принимает форму Высшего Разума, о котором еще вчера писал Гегель. Главный герой почему-то постоянно теряет свой разум, то переживая гибель в автокатастрофе своей первой любви – Геры, то блуждая по горизонтам собственных вымыслов и находя странного чудака – Бюхнера, то спиваясь от измен жены Матильды и попадая в психушку к своему другу Хаскину который оказывается и сам повинен в болезни своего друга-пациента, ибо и сам соблазнил или оказался соблазненным Матильдой – женой друга и своей же пациенткой. И везде любовь, любовь чистая, духовная и любовь плотская, грязная, всякая, причем ее так много, что читатель уже начинает пресыщаться этой самой любовью, но не пресыщается, а весь фокус восприятия читателя заключается в том, что перед ним раскрыт целиком и полностью весь герой, он перед ним во всех ракурсах описываемых событий, он и в бреду, и в дружбе, и в любви, и в соитии, и в несчастных переживаниях о прошлом, и с тревожным взглядом, устремленным в будущее, он в одежде и без одежды, он и положительный, и отрицательный, он такой же сумасшедший как все, как мир, в котором он живет.

Вместе с тем, в романе есть и очень контрастные темы, темы противоборства человека и природы, мужчины и женщины, одной и другой нации, и люди совершенно разные, у одних душа просыпается, у других, например, у Штунцера медленно погружается в вечный сон. Автор не боится и проблемных тем, например, отношения русских и евреев, однако в романе эта тема мягко окутана юмором, даже ярый антисемит у него не русский, а Иосиф Финкельсон, причем образ очень верно схвачен автором, как будто он вырвал его из гущи событий, в которых кипит российская жизнь, но кроме этого роман еще интернационален, он как бы не имеет границ, даже имена героев содержат самые разные национальные особенности, от Бюхнера до Петра Петровича, от Ивана Иваныча до Эпименида, и жёны героя, то Матильда – еврейка, то Мария – армянка, причем национальный колорит дан весьма условно, этот мир уже перемешан, как Нью-Йорк или Москва, любой современный Вавилон. Автор как бы создает из множества обломков цивилизаций свой внутренний мир, которым и наделяет своих героев, которые уже не могут вырваться за горизонты этого воображаемого мира. Совершенно отдельной темной страницей выглядит разбросанный по роману шизофренически параноидальный дневник некрофила Штунцера. При прочтении его возникает ощущение какого-то загробного Царства, где покойницы в гробах оживают, а врачи-психиатры становятся похожи на фантастических злодеев, пытающихся всеми способами уничтожить сознание больного Штунцера. Поистине мы видим в этом дневнике трагедию больного человека, и самое важное, что автор разглядел эту трагедию в некрофиле, человеке-изгое, обреченном как бы на свое невидимое и вечное существование в другом мире, и это при всем том, что в романе есть и светлые страницы самой чистой и возвышенной любви, которая светящимся нимбом изливается на героя и на весь окружающий мир, даже не взирая ни на какие его грехи и ошибки, и даже убийство Эпименида – грязного мошенника и шантажиста заключено в форму какой-то вечной справедливости, чьи корни берут свое начало еще из пещерных времен, когда человек был вынужден убивать себе подобных только ради собственного существования, своей огороженной от всех территории, где его очаг, его семья. Не менее сказочными и мифологическими персонажами выглядят герои параноидальных видений Штунцера и профессор Вольперт, и Сан Саныч, и постоянно лежащие в гробах Сирена с Афигенией, которые то сменяют друг друга, то объединяются в безумно-развратном поиске самого Штунцера, который, судя по чудовищности своих видений, пытается бороться с самим собой. Самое трагичное, что Штунцер осознает, что и в своих видениях, и в реальном мире ему нигде нет места.

«Странно, как бы я ни задумывался, и реальный мир, и этот выдуманный мир одинаково безобразны», – вздыхает в своих видениях Штунцер. Проблема Штунцера – это не только проблема страдающего некрофила, это проблема любого страдающего человека от собственного несовершенства, так и от несовершенства существующего мира. Однако самым фантасмагоричным и чудовищно аллегоричным выглядит финал романа, уже после убийства Эпименида, когда семья главного героя, он сам, Матильда и Мария с детьми усаживаются на огромном валуне, под которым ими зарыто тело Эпименида, и Мария с Матильдой рассказывают детям сказки, разжигая костер и глядя на звезды. С одной стороны, убитое тело шантажиста Эпименида, лежащее в земле, с другой – мечтающие дети, слушающие сказки, и само поведение героя и его жен, герой, спокойно размышляющий о жизни и о смерти с бессмертием, и женщины, рассказывающие сказки, все сливается в одном времени и месте, как бы подчеркивая абсурд нашего земного существования, а вместе с тем и мысли героя, возвращающие его к детству, к самому началу, с глубокой надеждой на то, что что-то будет после, как бы служащие ему защитой от самого себя и окружающего мира, все говорит о его духовной и нравственной победе над самим собой, над своей личностью, отчего он и говорит Марии, что само захоронение Эпименида на том месте, где их соития с ней и Матильдой снимал Финкельсон, будет ничем иным, как освящением этого места, недаром же люди покло-

няются местам захоронения, и на место захоронения Эпименида он кладет не что-нибудь, а именно огромный валун, и то, что они сидят на нем и общаются, глядя на костер, прообраз вечного огня, а потом на более вечные звезды, – все это скрыто подчеркивает некий духовный ритуал, дань памяти убиенному Эпимениду, которого они, хотя и ненавидели и презирали, но все же в душе так или иначе переживали его смерть. Просто их жалость в контексте финала романа заключена не столько в мысли и речь, сколько в их поступки, и поэтому читатель так легко воспринимает смерть Эпименида. Автор как бы завораживает своей речью читателя, не давая тому опомниться, и уже только после прочтения можно удивляться, что ты испытал жалость не только к герою романа – Аркадию, но и к некрофилу Штунцеру, и к развратной Матильде, и к не менее развратному Эдику Хаскину, не говоря уже о Гере, о самой первой и погибнувшей любви героя. Смысл всегда очерчивает превосходство человека над собственной природой, и то, что герои этого романа имеют множество проблем со своим обезумевшим «Эго», нисколько не лишает их этого вечного смысла.

*Аарон Грейндингер*

# От автора

Изначально мною предполагалось написать роман о любви возвышенной и светлой, но в процессе творчества я совершенно незаметным для себя образом соединил два схожих по половому и одновременно противоположных по духовному содержанию чувства, и получилось так, что я в равной степени писал как о светлой любви, так и о грязной.

Когда-то, в начале прошлого века, проезжая ночью на извозчике, на клочке бумаги русский писатель Василий Розанов написал: «Моя Душа состоит из грязи, нежности и света»…

Думаю, эта мысль лучше всего выражает идейный принцип моего творчества. Вечное противоборство живых существ даёт мне возможность создавать их подобия почти как творцу, который действительно мало чем отличается от писателя, ибо мы одинаково создаем несуществующие подобия, в которых ни одна молекула никогда по-настоящему не соединится с этим миром… Связь всегда бывает случайной, и только потом облекается в форму понятных человечеству законов.

Жизнь была бы более страшной и бессмысленной, если бы её Абсурд не обретал в наших мыслях формы Высшего Разума… Относительно национальной темы, она никогда для меня не была главной и значимой темой. Когда-то у Сократа спросили, откуда он родом, и он ответил весьма просто: «Я родом из Вселенной!»

И это правда, у великих нет родины, а их страсть безгранична, а я всего лишь пытался выделить своей писаниной это безграничное ощущение абсолютной и, если желаете, эксклюзивной свободы, свободы черпать пустоту из смертной жизни, у которой правило святое: Не посрамить своей душой покоя!

Роман «Двоеженец» написан мной по принципу Каббалы, где все слова зашифрованы и обозначают множество собственных символов-мыслей-слов, пример: «Смерть-сеть-еть», то есть Смерть – это ловушка для соития или соитие – ловушка для Смерти!

Однако в Каббале слова зашифрованы также и числами, которые в моем языке ничего не означают, за исключением первых четырех, пяти цифр, из которых складывается живое противоборство моих персонажей. Тема двоеженства интересна не столько своей эротичностью, сколько наглядным человеческим дуализмом, двойственной природой человека, заключенного в ней, игрою света и тени, попыткой заменить одно другим. Вместе с тем, в противовес общепринятым взглядам я создал пример счастливого двоеженства, что также определялось изначальным замыслом провести своего героя от трагедии к трагикомедии, и вообще нарушить все жанровые каноны и литературные формы, хотя настоящий пример такого нарушения можно встретить только в ранней античности или в Ветхом Завете.

# 1. Гера, давшая смысл и его забравшая снова

Эта тьма предназначена не только для меня, но и для тех, чья похоть выливает остатки разума за те таинственные пределы, где для всех без исключения Любовь, как и сама Жизнь, уже окончательно исчезает… А что же остается, если Любви уже не существует, если она была только одним связующим мгновением, соединяющим нас с нашим прошлым перед разинутой тьмой пасти Неизвестного, в котором взгляд любой вдруг растворяется как соль, как соль и боль, изъевшая пространство…

Все началось с того, что я родился евреем! Правда, и сейчас, и тогда национальность для меня не значила ничегошеньки! За исключением звучной фамилии и вопросительного носа, которым меня украсили предки, ничем особенным я от других не отличался. Ни на идише, ни на иврите я разговаривать не мог и был предвзятым атеистом, как и мои родители. Обучался я тогда в медицинском институте, что к моему происхождению не имело никакого отношения, просто ощущал я в то время какую-то странную потребность – поковыряться в человеческих органах, даже, я бы сказал, была во мне какая-то особая кровожадность, а вкупе с ней ирония с цинизмом, ведь человек, он как бульон, в котором варится несчастная свобода!

Почему несчастная?! Да потому, что настоящая свобода еще никого счастливым и не делала, уж если только одного меня, и то всего лишь на мгновенье, и по какому-то безумному значению, то есть просто совпадению! Так уж получилось, что моя учеба в мединституте совпала со множеством бурных перемен как в жизни, так и во мне самом. Родители мои вдруг почувствовали себя изгоями в нашей стране и неожиданно захотели вернуться на родину предков. Полгода они уговаривали меня, мать плакала, отец хватался за ремень, но все их уговоры, обещания милой райской жизни и угрозы здесь остаться без гроша меня никак не задевали.

Возможно, что на год раньше они бы и уговорили меня, но так получилось, что их отъезд совпал с периодом моего полового созревания. В это время я влюбился в одну прекрасную девушку Геру – мою сокурсницу, и желал только одну ее, хотя где-то глубоко в подсознании я желал иметь сразу весь женский род. Гера была для меня прекрасна и желанна во всех смыслах, ее карие глаза упрямо обволакивали меня на лекциях и семинарах, и даже в анатомичке, где мы вместе копошились в неизвестных трупах, я не мог от нее отвести безумного взгляда.

В конце концов я так загипнотизировал ее своим взглядом, что Гера подошла ко мне и влепила мне со всего маха пощечину, и неожиданно мы вместе рассмеялись, как будто раз лишь прикоснувшись к телу, она навеки им же соблазнилась. Теперь после занятий в институте мы шли с ней, взявшись за руки, как дети. Вскоре наши невинные поцелуи в подворотнях и в подъездах сменились бурными и страстными соприкосновениями везде, где можно, и в общественных местах все люди, пешеходы, пассажиры, зеваки просто никак не могли оторвать от нас своих возбужденных взглядов, как и мы с Герой не могли оторваться друг от друга… Невероятно-нахально-бесстыдное зрелище, соединение двух наших юных лиц с быстрым и взволнованным слиянием губ и языков, и томным стоном, проходящим оболочку сквозь… Весна как будто взорвала нас изнутри, цветение сирени, белых вишен, сам воздух был пронизан теплым чувством, срывающим повсюду красоту.

Потом настал прекрасный вечер. Солнце и луна на небе светили до странности одинаково, с одной и той же высоты… Что-то подобное я уже видел на старинных иконах и гравюрах… Ее глаза, так ни на что непохожие, глаза очень грустного зверя глядели на меня в упор…

Она чувствовала или ждала, что я ее за собой поведу… туда, где мы потеряем вместе невинность.

Мы шли как будто наобум и все же знали в темноту дорогу, сквозь заросли, через дыру в заборе, на берегу текущей к Вечности реки, в кустах цветущих ароматом пьяным проникли мы друг в друга как зверьки…

Ночной воздух дрожал нашими телами, и казалось, что нашим током пронизан весь берег реки, и все небесные и земные корни переплелись между собой, выделяя млечный сок перевоплощений весенних трав и всех живых цветов. Из разложившейся мгновенной пустоты всегда выскальзывал тусклый зрачок соглядатая и мрачно пыхтел, обливаясь жаркими ночами рукоблудия в то время, как мы проникали друг в друга яростно и упоенно, раздавая всему затихшему пространству безумные касания-шепотки…

– Мой, мой, мой, – повисали над заводью ее сумасшедшие крики, и стон протяжный до туманной бесконечности вползал в нутро самозабвенного ананиста…

Ночные черные деревья, обрамленные серебряной луной, качали чувственно в порыве головами и чуть стонали, ощущая нашу дрожь… Кучка завороженных детишек за кустами сидела тихо, любуясь нами и ощущая жажду скорого повзросления… Ветер щупал нас интуитивно, пытаясь вывернуть наружу глубину того, что в этот миг происходило внутри ревущей нашей глубины… Мотоциклисты с диким шумом проносились мимо, а мы все совокуплялись, перевертывались, изменяли положения тел и снова совокуплялись, трахались, целиком растворяясь друг в друге… И этому не виделось конца…

А потом он наступил, и она, свернувшись калачиком, плакала возле моих раскинутых ног и просила прощения, но, Боже, за что, за то, что вместе окунулись в темноту, постигнув жажду смертного пространства?!… А потом она молча, всхлипывая, глядела на меня, и ее туманный взор лелеял во мне мечту о сверх-возникающих мирах, окружающих всю нашу землю, в которых и спрячемся мы за плотным скоплением звезд, и только сейчас, в это лунное и тихое безвременье скопление ее чистых слез на моем затихшем персте превращало меня в жалостного и послушного ребенка…

И я опять шел с ней в туманное грядущее под лай беспризорных собак и пенье одиноких пьяниц… Странные дни происходили в моей душе, родители мои уже сидели на чемоданах, а мы с Герой часто, уединяясь в моей комнате, шептались о нашей с ней свадьбе. Родители уже уговаривали и меня, и Геру поехать с ними в Израиль и даже хотели задержаться из-за нас, чтобы справить нашу свадьбу, но мы с Герой наотрез отказались ехать с ними, и они, уже не дожидаясь нашей свадьбы, улетали рано утром в Тель-Авив. В аэропорту их провожали только я и Гера. Мы держались за руки и плакали, глядя на их грустные и обиженные лица, из-за какой-то глупой дикой ревности они со мной прощались как чужие, а я же чувствовал, что люблю свою Геру еще сильнее, и поэтому так страстно прижимал ее к себе, глядя в глаза моих улетающих в даль родителей… И все равно отъезд родителей вогнал меня в уныние, и только одна Гера утешала меня, был еще один сокурсник – Бюхнер, но виделись мы с ним крайне редко, и весь я был от края и до края поглощен одной Герой, мы так любили друг друга, что каждый день, даже не день, какой-то час, какая-то минута вызывала муку ожидания…

Чтобы содержать себя с Герой и скопить денег на свадьбу, хотя родители и оставили мне денег, я устроился работать фельдшером на скорой помощи, к тому же это было для меня как будущего врача настоящей практикой… Я работал через день, а после каждой ночи шел с утра на учебу, и Гера помогала мне, она за меня писала конспекты лекций, бегала в магазин за едой и уже жила со мной как жена, и родители ее были не против. Они только по выходным дням приходили к нам и делали нам множество нравоучений.

Отец Геры, солидный бородатый мужчина, чем-то похожий на священника, довольнотаки в свободной манере рассуждал о современных методах контрацепции, мать Геры, жен-

щина очень худенькая и робкая, наоборот, очень сдержанно и шепотом советовала подождать с детьми. Их полезные советы нам с Герой были очень смешны, особенно потому, что Гера была уже на 2-ом месяце беременности, и вообще мы мало думали о будущем, мы просто утопали с ней в своем маленьком и сокровенном счастье, куда мы никого не допускали и жили в нем как звери в собственной норе… Внутри закрытой квартиры и зашторенной наглухо комнаты я прижимался щекой к ее растущему животу и быстро набухающим соскам и радостно слышал два биения сердца в одном ее живом существе… Редко бывает, когда жизнь тебе кажется сказкой, а человек, которого ты любишь, и вовсе волшебным существом, но такое было со мной, а теперь лишь кажется, что было, так трудно верить в то, что навсегда прошло и кануло куда-то в темноту… Было лето, я скопил денег, но мы с Герой решили вместо свадьбы поехать к морю, а свадьбу на немного отложить. Был самый разгар сезона, люди купались и лежали на солнце, как пьяные мухи, мы же с Герой настолько были увлечены процессом безумного проникновения друг в друга и постижением тайного мирка, что никуда из глиняной мазанки и не выходили, немало удивив своих хозяев, мы находились в ней и день, и ночь… Сейчас уже трудно верить в то, что навсегда прошло и кануло куда-то в темноту…

Было лето, я скопил денег, но мы с Герой решили вместо свадьбы поехать к морю, а свадьбу на немного отложить. Был самый разгар сезона, люди купались и лежали на солнце, как пьяные мухи, мы же с Герой настолько были увлечены процессом безумного проникновения друг в друга и раскрытием тайного мира, что никуда из глиняной мазанки и не выходили, немало удивив своих хозяев, мы находились в ней и день, и ночь…

И только в последний день, перед отъездом, зашли мы с Герой в море и в нем соединились за скалой, за версту от городского пляжа, мы бултыхались с ней, как страстные бакланы, живущие у этих голых скал, и лишь с поверхности небесного экрана солнца луч в нас жадно проникал…

Оставалось три дня до свадьбы после нашего возвращения домой. Ее родители решили нас удивить и создать что-то вроде генеральной репетиции нашей свадьбы.

Ее отец пригласил своих друзей, мать – сестру, и мы все сели за стол, поглощая в себя алкоголь и молчащие яства, лишь три раза прокричали «горько», и мы, повинуясь всеобщему крику, и даже не крику, команде, обозначили союз свой поцелуем и таким образом наглядно продемонстрировали свои чувства. Неожиданно мне подумалось о том, что свадьба – это имя существительное, и о том, что образовалось оно от глагола «сводить», и что сводить можно концы с концами, а можно и людей, имеющих те самые сводимые друг с другом концы, т. е. части тела, и что даже эта генеральная репетиция нашей свадьбы оказала такое сильное и даже стихийное воздействие на мою и даже Герину душу, потому что мы одинаково сознаем, что это не просто человеческий праздник, а праздник полового союза, праздник наших тел, и мне стало стыдно, и я покраснел.

Отец же Геры, как будто прочитав мои мысли, шутя, прошептал мне на ухо: «А племена, находящиеся на более низкой стадии развития, например, полинезийцы, между прочим, демонстрируют на свадьбах не поцелуй, а сам половой акт!» Я еще гуще покраснел и со смущением поглядел на Геру, а ее отец весело расхохотался, и почему-то от его пьяного и развязного смеха мне стало не по себе, и я уже с заметным волнением поглядел на свою Геру и подумал: как хорошо, что очень скоро она станет моей и будет принадлежать только мне одному и никому другому, даже ее отцу она не будет больше принадлежать, лишь иногда на час, на день встречаясь, и тут я понял, что я ее ревную к отцу, в то время как ее отец ревнует меня к ней, и мне стало ужасно стыдно и беспокойно.

Женщина, о, Боже, это то, из-за чего женишься, так во всяком имени находится глагол и предложение, одним словом, сущее, повелевающее нам жить!

Иногда человеку достаточно молчания, чтобы выразить себя, потому что иногда ничего другое и не может выразить его душу, кроме страха бесполезного молчания, обозначающего все и навсегда! Это утро после генеральной репетиции нашей свадьбы, пожалуй, мне никогда уже не забыть. С самого утра я пошел работать на «скорую», а моя Гера осталась с родителями. Как будто ничего не предвещало вечных ужасов, я увлеченно слушал только тишину, я разговаривал тайком от всех с прекрасной Герой.

Мой врач Зезегов пил чай и улыбался в окошко на летнее солнце, и птицы все пели, и все как бы пребывало в цветном и восторженном сне. В такой вот глухой задумчивости я мысленно воспроизводил в душе наш последний с Герой акт, акт сладострастной пытки в связке двух тел, еще сплетения душ, как птицы, мы трепыхались в жарком объятье… Потом резкий звонок, и голос железно-гулкий через микрофон об автокатастрофе на Плющихе. Мы быстро собрались: я, врач Зезегов и санитар Веретеников, – и быстро поехали к месту. В первый раз мое сердце оборвалось, когда я увидел смятое красное «БМВ» Гериного отца, второй раз, когда увидел в этой смятой груде металла окровавленное тельце маленькой Геры, в третий раз, когда спасатели разрезали эту кучу и вытащили уже бездыханное, почти бездыханное, но все еще дышащее тельце… Я даже не мог попасть иглой в вену, и врач Зезегов оттолкнул меня от нее, а я только скулил, как несчастный брошенный щенок, а мои руки дрожали… Я даже не увидел, как из-под груды обломков доставали ее мертвого отца, я ничего не видел и не слышал, кроме ее маленького умирающего тельца с головой, в которой из маленькой, крошечной ямки била фонтаном горячая вечная кровь…

В четвертый раз, когда почувствовал, что ее уже больше не будет… что ее уже нет и не будет теперь никогда… Потом я уже подошел к ней и закрыл ей пальцами глаза и прижал к себе, менты пытались у меня ее забрать, но я ее им не отдавал, я только кричал каким-то неестественным, нечеловеческим голосом, пока мой голос не превратился в жалкое и тихое шипение, и только я положил ее на носилки и понял, что уже никогда не смогу быть врачом, один лишь раз нарушив клятву Гиппократа[1], я ощутил себя ничтожнейшим скотом… Теперь ее тень ловила меня всюду, особенно в стенах тоскливой комнаты, где все еще лежали ее вещи и запах тела в них еще немного жил…

Я брал трусы ее и нюхал как безумец, и плакал, сволочь, часто, будто дождь объял все мое тело, я нюхал ее туфли, каблуки, перебирал ее глаза, ее улыбки, фотографии совсем недавних дней и целовал их как живую, каждый миллиметр запечатленной плоти еще недавно, но живой души, а потом, как в тяжелом сне, проваливался сам в себя и шел в пустой и душный дом, где мою любовь сковали гробом…

Стадо ее печальных родственников обступило меня и лезло в бессмысленные объятия, производя в моем сознании трагические рефлексы оскопленного ими животного… Они трогали меня и мгновенно размножались, как микробы, в тот миг как я с лютой тоской и до изуверского озноба грезил наяву и видел, как моя Гера встает из гроба и молча с безумной улыбкой приближается ко мне, а ее отец стоит передо мной на коленях и плачет, а я их всех целую и прощаю за все и прощаюсь со всеми, и меня никто уже не видит…

А потом была страшная ночь.. Я безмолвно лежал в пустой постели и через каждую минуту по кускам, по каким-то еле видимым фрагментам ощущал опять ее и слышал, как под нами стонут пружины старой кровати и как сама она стонет и льнет устами ко мне, а еще я явственно слышал ее шепот, она шептала мне как день назад, что за меня умрет, если это будет необходимо, а я зарывался в ее кудри и парил вместе с нею над кроватью, над шкафом,

[1] Согласно клятве Гиппократа врач не имеет права лечить близких и родных ему людей. На самом деле такого запрета в клятве Гиппократа нет. но он стал приписываться ошибочно данной клятве, из-за запрета лечить близких, который появился в советское время, и не был столь категоричным, и исходил от руководства Минздрава.

над окном, домом, мы пролетали сквозь стены и потолки и растворялись в небе, а все вещи, мебель, весь дом летел и куда-то, свертываясь в один непонятный клубок…

О, как она любила меня, любила до изнеможения, до вскрика, радуги в глазах, слепящих искр, объединяющихся в пламя, по раскаленным углям еще видимой души ее же призрак пробирался сквозь одежды и сквозь холодный пот на моем теле и глубоко в меня весь уходил… И вдруг я увидел, что все ее тело покрыто ужасными язвами, и беспроглядная тьма как языками слизывала и проглатывала все ее тело, и вместо тела в тех местах уже зияла пустота, а я вдруг только ощутил, что люблю, но мертвеца, и ужас заполнял всю мою душу, и еще я ощущал, что люблю ее холодную и мертвую еще сильней, а мое горячее семя переполняет пустоту ее мертвого тела, в тишине которого вспыхивает и тотчас гаснет моя нечастная жизнь.

– Я жертва, – шептал я ей, – отпусти меня… А из губ моих лилась потоками кровь, и я мгновенно вспоминал, как она совсем недавно поднималась из гроба с улыбкой, а потом мы тихо засыпали, свернувшись кровавым клубком… Так жертва поглощалась жертвой, и этому не было конца, как и всей нашей жизни, обернутой в вечную ткань…

Дальше я не смог ни спать, ни лежать, ни думать.

Опустошенный и выпотрошенный до безумия, я вышел в ночь как сомнамбула… Я заходил в ночные кабаки и напивался, но водка как будто и не думала одерживать верх над моим измученным сознанием. Всю ночь я пил, и каждый раз меня рвало, выворачивало всего наизнанку, но потом я опять заходил в кабак и напивался, и вроде уже еле держался на ногах, но все с той же обезумевшей усмешкой, искрившей мой кровоточащий рот, хватался за всех руками, как за выступы окруживших меня плотным кольцом гор, а кто-то бил меня, а я радостно воспринимал эти удары и кричал: «Еще, еще, братцы! Всыпьте мне как следует!»

Кто-то швырял меня об стену, а я опять вставал на дрожащие ноги и ничего не видел, кроме нежно улыбающейся и встающей из гроба Геры. Вся наша любовь канула в Лету, а я не знал, куда идти…

У меня еще были в кармане деньги, я еще мог кого-то ударить и постоять за себя, но я ничего не хотел, и мне было наплевать на весь мир во вселенной, ибо со смертью Геры я был для всех чужим и наедине со своим горем…

И для чего я пил всю ночь?! Неужели, чтобы забыть ее, родную?!

– А, может, тебе хочется найти бабу?! – спросила меня потрепанная девица.

Бабу? Неужто я ходил по кабакам с этой грязной похотливой целью?! И для чего эта дура заговорила со мной?! Она, видно, хочет, чтоб я был ее целью, а мой половой орган служил ей орудием сиюминутной страсти и добывания денег, а еще она предлагает мне выпить, поскольку очень рассчитывает, что с помощью алкоголя сумеет от меня всего добиться…

Я хмуро киваю головой и снова иду за ней в ресторан. Просто я устал и хочу про все забыть. Эта дура быстро напивается и вешается мне на шею, и шепчет со смехом: Ты знаешь, что водка укладывает меня в постель за час, за два, а вот шампанское с водкой – за минуту, есть и другие варианты, но их еще надо обдумать!

– И какого черта ты пристала ко мне?! – спрашиваю я, с удивлением глядя в ее расширенные зрачки.

– А хочешь я пососу твой член?! Я, между прочим, приятно сосу, не то, что некоторые!

– Я это не я, понимаешь? – я гляжу на нее, будто пытаюсь одними только глазами выразить свое несчастье жить без Геры, но эта дура ничего не понимает, она пьяна и хочет во что бы то ни стало проглотить мой член, и я едва не бью ее от омерзения, и только улыбка моей светлой Геры, встающей из гроба, останавливает мою замахнувшуюся руку.

– Этот гад хотел ударить меня! – ревет пьяная шлюха, но я отталкиваю ее и выхожу из ресторана… Надо мною звездное небо, а в душе пустота, в которой я опять пытаюсь

найти свою Геру, только она уже куда-то исчезла, я мысленно вижу ее, обнимаю и плачу, а кто-то сзади хватает меня за плечи, и я уже вижу ухмыляющихся ментов, отрывающих мои руки от молоденькой березки, потом они бьют меня, мои колени подгибаются, и так я проваливаюсь в глухое забытье…

# 2. Жизнь на грани фола, или Что лучше: смертью унесенная любовь или убитая разочарованием?

Полночный свет, где мается звезда, глухие шторы затворяют окна, как будто мои прошлые года зовут туда, где я играл еще ребенком, старые стихи на клочках бумаги, и кому они нужны, неизвестно, я шевелю эти рваные клочки в карманах, как будто от них что-то зависит в моей странной и непонятной жизни, мой сосед по камере одним взмахом руки издает мощный гул сливного бачка, а я вздрагиваю, как муха, которую только что пришпилили к гербарию острой булавкой, и так застываю надолго, будто навеки, я понимаю, что из-за смерти Геры мое тело будет вздрагивать от любого шороха, а мои нервы, как стальные тросы большого корабля, будут натягиваться постоянно, как во время бури, в предвкушении сняться с якоря, и вообще я уже что-то выдумываю, а что – понять никак не могу, может, именно из-за этого я с таким страхом вглядываюсь в лицо хмурого соседа, как будто я боюсь его уже давно, а он это чувствует и тоже меня начинает бояться, и никто из нас не знает, как высказать друг другу свое чувство, чтобы снять тяжесть и с без того непомерной души, я просто хочу узнать, какого черта он на меня так долго смотрит и молчит, неужели ему, как и мне, не тошно от этого молчания и царящей здесь в полумраке неизвестности…

Так проходит час, а может, два, и мы наконец начинаем разговаривать, причем это заостренное чувство щемящего одиночества заставляет нас говорить одновременно, и мы говорим так, будто освобождаемся навсегда от невидимых пут, а потом смеемся и обнимаем друг друга, пожимая друг другу руки, мы как бы отдаем уже заранее часть самих себя, и это деление на атомы чувств соединяет нас как двух родных братьев, а потом Семен просит меня послушать его историю, и я слушаю его, уже представляя себя не собой, а Семеном…

Это как глубокая иллюзия, в которой ты обретаешь любое обличье или просто навязчивый образ, ты уже живешь и дышишь его чувствами, его мыслями и двигаешься по невидимым лабиринтам загадочного разума, и в тебе просыпается такое странное желание, как только однажды, у самых несчастных людей…

Оказывается, Семен бросался пьяным под самосвал, но это была уже развязка его истории. «Все началось с того злополучного дня, когда у нас с женой не было денег, но мы все равно пошли в магазин, и в отделе женского трикотажа она взяла сразу три кофты и зашла в примерочную, а я (он же Семен) зашел следом, без каких-либо объяснений она тут же кинула вешалку за трюмо, а кофточку положила в сумочку и вышла из примерочной как ни в чем не бывало, а я вышел тоже, в этот момент я клял ее самыми последними словами, ибо моя карьера юриста могла оборваться уже на фазе обучения, и тут я не выдержал и подбежал к ней, и на глазах изумленной продавщицы вырвал из рук жены сумочку, вытащил из нее ту самую дорогую кофточку, сходил обратно в примерочную, вытащил из-за трюмо вешалку и повесил ее обратно на место…

Из магазина она выходила ни жива, ни мертва, жалкая и пристыженная, и совершенно чужая мне женщина, а я, я шел за ней следом в след, ощущая внутри одну пустоту, она без слов перешла дорогу, и мы зашли в заросли, на пустырь… На пустыре она набросилась на меня как разъяренная тигрица и вцепилась мне в волосы, она ругалась матом, как сапожник, и у нее была самая настоящая истерика, а я злорадно, и даже не злорадно, а как-то зло и яростно улыбался ей и говорил при этом одну только фразу: «Я разведусь с тобой! Я не буду с тобой жить, и между нами все кончено!» «Сука!» «Сукин сын!» «Правильно, дорогая, я сукин сын, потому что я мужского рода, а ты сука, потому что ты женского рода! Ну, есть, что еще сказать, нет, тогда пойдем!» «Никуда я не пойду!»

Она упала на землю и сразу завыла, она ревела белугой, а может, она думала или надеялась, что еще пожалею ее, но жалости уже не было, как, впрочем, и любви, между нами все было кончено, жизнь отняла нашу страсть, хотя мы думали, что это любовь, и только одна дочь, которую я очень сильно жалел, кровоточила страшною болью, но что я мог сделать ради нее, остаться с этой сукой означало испортить себе всю жизнь. А через какой-то месяц в деканат от моей жены и тещи поступили жалобы, из которых явствовало, что я самый аморальный тип на земле, декан посоветовал завалить какой-нибудь экзамен или взять академический отпуск в связи с плохим состоянием здоровья…

Чувствовал я себя действительно паршиво, ректор объявил мне строгий выговор за неисполнение супружеских обязанностей и вообще обещал отчислить из университета, если я не перевоспитаюсь, круг сужался, а я пьянствовал, играл в карты на деньги и вообще пытался куда-нибудь сбежать от проблем, но вино меня не брало, как и водка, я оставался таким же трезвым и несчастным, я был на краю какой-то страшной пропасти, да и родителям я писать боялся, и вообще я жил какой-то не своей, а чужой, как будто взятой у кого-то напрокат жизнью, Зульфия, девочка 18 лет, студентка филфака, которая хорошо знала меня, как-то подошла ко мне и предложила стать моей женой и воспитывать моего ребенка, а я глядел на нее во все глаза и восхищался ее прелестью и благородством, но все же отказался, а потом пошел к нашим узбекам и попросил у них анаши, желанье раствориться в природе было необыкновенно громадным, и мы заперлись в комнатке: трое узбеков и двое русских – и стали по очереди курить анашу, передавая набитую ею беломорину, постепенно какой-то белый туман стал заволакивать мои глаза, и я увидел своих родителей, они плакали и звали меня, и махали мне руками, потом Абдамаджит громко засмеялся, за ним Тахир, Алишер, Виктор и я, я смеялся против своей воли, своего чувства, как будто у меня ничего своего уже не было, тогда я попытался схватить руками свои дергающиеся от истерического хохота щеки и сжать их до боли, но у меня ничего не получалось, и тогда я стал биться головой об стену, пока не разбил свое лицо, кровь заливала мои глаза, и я почти ничего не видел, парни продолжали курить и ржать, падая под стол и не обращая на меня никакого внимания, тогда я взял полотенце и, прикрыв им лицо, опустился вниз и взял у вахтерши ключ от душевой, зашел в душевую и встал под ледяной душ, и только тогда сознание медленно стало возвращаться ко мне…

Я вспомнил о своей дочери и расплакался, и даже попытался вернуться к жене, жена встретила меня как старого знакомого, она была навеселе, и рядом с ней за столом сидел какой-то пьяный мужик, в соседней комнате кричала моя бедная девочка, но я ничего не мог сделать, я хотел убить и жену, и этого глупо улыбающегося мне мужика, я хотел изменить свою жизнь самым жестоким образом, но… я уже стоял между прошлым и будущим, я зашел в комнату к дочери, посмотрел на нее, заплакал, взял на руки и поцеловал, и положил обратно в кроватку и вышел, был дождь, он лил, как из ведра, я зашел в магазин и купил бутылку водки, и тут же у прилавка выпил, а потом вышел из магазина и увидел едущий по дороге самосвал и кинулся под него, но самосвал успел затормозить, а здоровенный водитель выскочил пулей из «ЗИЛа» и ударил меня кулаком в лицо, разбив мне губы, один зуб зашатался, на четвереньках я отполз в заросли сквера и там уже, свернувшись калачиком, накинув себе на голову пиджак, затих, скуля тихо, чуть слышно, я, кажется, был не здесь, а где-то очень далеко, совсем на другой и, кажется, очень родной мне планете… А потом меня забрали…»

Семен замолчал, я еще долго не мог придти в себя, я вжился в его образ и грустил вместе с ним, а потом мы закурили, и я рассказал ему свою печальную историю, и пока я ее ему рассказывал, в моих глазах оживала моя светлая Гера, теперь она уже вставала не из гроба, а спускалась откуда-то сверху, с неба, и за плечами у нее колыхались два белых крыла… После моего рассказа мы опять долго молчали и курили, с жадным вниманием глядя друг

на друга, и вдруг Семен мне сказал, что мне повезло больше, чем ему, но я с ним не согласился, и мы тихо заспорили.

Самое ужасное, что никто из нас не был прав, ибо ни любовь, унесенная смертью, ни убитая разочарованием не могли остановить нашего убегающего времени, ни наших неожиданных чувств, все мы грелись в лучах одного единственного солнца, и все мы были одинаково несчастными созданиями… И я бы, наверное, мог ему все это объяснить, но в эту минуту дверь камеры открылась и на пороге появился улыбающийся маленький очкастый и лысый Бюхнер.

Я все понял и вышел ему навстречу, и обнял его.

– А мы так и думали, что ты где-то запил, – сказал он, – ребята со «скорой» все морги обзвонили, все вытрезвители.

И тут я вспомнил, что должен был дежурить, но так напился, что про все уже забыл. В большом смущении я попрощался с Семеном и, понимая в душе, что никогда уже больше не увижу этого человека, обнял на прощанье, а Бюхнер удивленно похлопал меня по плечу, кивая в сторону стоящего рядом охранника, и вывел меня из камеры…

# 3. Мой маленький дружок – великий Бюхнер

– Не беспокойся, главный врач уже в курсе! – успокоил меня Бюхнер, и вскоре мы уже вышли на проспект Свободы.

– А что мне теперь делать?! – спросил я его.

– Надо жить, жить, друг мой, поскольку все равно мы ничего на этом свете не изменим!

– Ты знаешь, – вздохнул я, – я уже никогда и никого не сумею лечить!

– Ну, что ж, – вздохнул в ответ Бюхнер, – ты сам хозяин своей судьбы! Пойдем ко мне, – предложил он, и я согласился.

Бюхнер был единственным студентом, который жил не у себя дома и даже не в общежитии, а в гостинице. В гостинице, где поселился Бюхнер, царила мертвенная скука. Некоторые полусонные жильцы с утра уже пьянствовали, сбившись в жалкие кучки по комнатам и рассуждая о каком-то непонятном и грядущем…

Грязный и нахальный портье исподтишка торговал марихуаной, а добродушные и давно потерявшие всякий интерес к творящимся безобразиям администраторы ловили на стекле мух и безжалостно отрывали им крылышки и лапки… Уже немолодая проститутка в истерзанных джинсах пыталась нам с Бюхнером преградить своим потасканным телом дорогу в его номер, но Бюхнер, занимавшийся дзюдо, ловко сделал ей подсечку, и мы уже перешагнули через ее тело, лежащее на ковре, и скрылись в его номере.

С самого начала нашего знакомства Бюхнер загипнотизировал меня своим абсолютным равнодушием к людям и просто удивительной и странной любовью к тараканам. В настоящее время он разводил мадагаскарских тараканов, тщательно изучая взаимоотношения самки и самца.

Огромные пузатые тараканы производили на обслуживающий персонал гостиницы эффект разорвавшейся бомбы. Бюхнера сразу же захотели выставить вон, но очень испугались, что он где-нибудь расскажет о здешних беспорядках, о которых он успел узнать, прожив несколько дней в гостинице, прежде чем остальные не узнали о его странных привычках и не менее странных существах, проживающих с ним в одной комнате.

Главный администратор гостиницы потребовал от Бюхнера дополнительную плату за проживающих с ним тараканов, но Бюхнер отказался.

– Вы же не берёте денег со своих тараканов, – ответствовал Бюхнер.

– Да, но мы их все-таки травим, – возмутился администратор.

– Ну, и травите себе на здоровье, если вам так нравится, – усмехнулся Бюхнер, и администратор почувствовал, что потерпел фиаско. С тех пор Бюхнеру стали досаждать стареющие проститутки, которых, по-видимому, на Бюхнера натравливал главный администратор, но Бюхнер всегда умело расправлялся с охочими до него дамами с помощью приемов дзюдо и каратэ.

– Вы нам перебьете весь наш контингент, – жаловался администратор.

– Не думаю, – усмехался Бюхнер, – проституция – вечная профессия.

– А может, вам найти другую гостиницу? – просил его администратор.

– Мне и здесь неплохо, – отвечал Бюхнер и шел своей дорогой.

Маленький, лысенький и очкастый Бюхнер редко смеялся, зато очень часто обрывал свои фразы на полуслове, из-за чего его речь производила странное впечатление испорченного телефона.

Вот и сейчас Бюхнер оборачивается ко мне и говорит:

– Я хотел бы, – и тут же умолкает, разглядывая в стеклянной колбе огромную половозрелую самку, вокруг которой уже вовсю бегали крошечные, по-видимому, еще не оклемавшиеся от собственного рождения тараканчики.

– Между прочим, самки детерминируют над самцами, – важно оттопыривает нижнюю губу Бюхнер.

– Это в каком смысле?! – переспрашиваю я.

– Это в том смысле, что самок всегда рождается больше, чем самцов, поэтому все самцы вынуждены быть многоженцами!

– А у нас, у людей, наоборот, – заметил я.

– Да, у нас, у людей, все через жопу, – соглашается со мной Бюхнер, – хотя, – он снова задумался, глядя то на меня, то на счастливую роженицу в колбе.

– Ну и что хотя? – спросил я и тут же поймал себя на мысли, что с Бюхнером разговаривает совсем другой человек, а я мысленно и духовно уже перешагнул черту вместе со своей Герой.

– А ты, как погляжу, совсем закис, все не можешь позабыть Геру. Мне тоже бывает порой не по себе, вот только эти тараканчики и спасают! Честно говоря, с ними я себя чувствую Творцом, создавшим внутри одной небольшой комнатенки целую Вселенную! – Бюхнер с любовью оглядывает множество стеклянных ящиков со своими драгоценными созданиями, стоящих и на столе, и на подоконниках, и на шкафу.

– Я люблю их крошечную жизнь, – шепчет он и, дрожащими пальцами касаясь моего плеча, говорит: «А не выпить ли нам с тобой, старый хрен?!»

И я с грустной улыбкой киваю ему головою.

– Ну, что же, испьем водицы, – радостно восклицает он и быстро достает из-под стола бутылку водки и банку соленых огурцов. Вообще Бюхнер очень любит преувеличивать свои несчастия, коими он считает свой небольшой рост, отсутствие волос на голове и слегка ослабленное зрение, и поэтому любит напиваться до полного бесчувствия.

– Важно понять, как все это происходит между самцом и самкой, ибо это происходит более необыкновенно чем у людей, – воодушевляется сразу же после первого стакана Бюхнер, – а люди, они что, они главным считают только свое собственное творение, в то время как другие, то есть я, ну, может, и ты заодно, отрекаются от него! Ну, чтобы не подорвать веру в то, поддерживает всех нормальных человеков, поскольку цель-то высока, но смысла постичь ее уже нет..

Неожиданно я понимаю, что Бюхнер сопереживает мне, к тому же он знал Геру и тоже, как я, учился с нами вместе в одной группе, и поэтому он не знает, что сказать, и хочет просто напиться, как, впрочем, и я.

– Ну, наливай еще по полной, – говорит он и вытирает рукавом набежавшую слезу, – знаешь, я всегда думал о загробной жизни, и вообще мне кажется, что человеку иногда достаточно только одной мысли, которая бы преобразовала нас, если не в себя, то хотя бы в какое-нибудь подобие себя… А иногда мне кажется, что тараканы такие же люди, и вообще я порой гляжу на них и вижу удивительные вещи, ну, например, какой-нибудь таракан, ну, к примеру, Тутанхамон, это мой самый любимый, вот он, – и Бюхнер протягивает мне здоровенную колбу с одним единственным тараканом, – вот я его запускаю иногда в ихний город, – и Бюхнер кивает в сторону большого стеклянного ящика, – и что ты думаешь, Тутанхамон сразу же удовлетворяет свои и мои потребности тем, что влезает на первую же попавшуюся ему самку и выкрикивает очень остроумные вещи!

– И ты слышал?! – удивился я, покачиваясь на стуле, весь пол уже плыл надо мной, и я куда-то падал, но все еще продолжал сидеть на шатком стуле.

– Слышал! – засмеялся Бюхнер и выронил из рук колбу с Тутанхамоном, и колба разбилась, а таракан убежал куда-то под кровать.

– Тутанхамончик, ты куда?! – заорал Бюхнер и полез под кровать.

Несколько минут из-под кровати торчала только одна жопа Бюхнера, а потом я услышал оттуда его истерические рыдания.

– Он, что, окочурился что ли?! – спросил я.

– Сам ты окочурился, – Бюхнер с радостной улыбкой вылез, держа в правой руке своего огромного Тутанхамона, – это я просто от счастия, что он никуда не убег, еще он пощекотал своими усиками мой нос! А потом послушай, как он потрескивает, – и Бюхнер поднес к моему носу Тутанхамона. Он действительно как-то странно то ли потрескивал, то ли пощелкивал.

– Это у него чешуя такая звонкая, – обрадованно пояснил мне Бюхнер и тут же закинул Тутанхамона в ихний город, – смотри, щас опять на самку залезет!

– Ну, и хрен с ней, – сказал я и упал со стула.

Бюхнер вежливо поднял меня и помог присесть на кровать.

– Надо бы еще по одной, – прошептал он, внимательно оглядев меня.

– Ну, давай, – махнул я рукой, и мы выпили, опять не чокаясь.

– Самое главное, – говорит, кусая огурец, Бюхнер, – это выбрать правильный курс! Ибо в нас за секунды собирается стоко мыслей, что мы даже не в состоянии их всех осмыслить! И потом, если наша воля свободна, то это может иметь отношение только к самой важной причине нашего хотения, то есть мы должны проявить максимум усилий, чтобы добиться нужного результата, – на этой фразе Бюхнер закачался и тут же рухнул возле колбы с половозрелой самкой.

Возможно, я бы согласился со всеми мыслями моего друга Бюхнера, если бы меня только не вырвало и если бы я опять не пришел в себя. Почему-то мне стало очень грустно, и моя Гера погибла, и этот непризнанный гений, в общем-то, неплохой мужик тоже был по-своему несчастен, не было у него ни друзей, ни семьи, ни женщин, одна только медицина, его любимые тараканы с какой-то непонятной наукой да я – такой же изуверившийся псих, такой же депрессивный неудачник.

Да и попробуй добиться результата, если совесть всюду виновата, если мы живем витиевато, да и думаем частенько простовато, да и уши заложило словно ватой, глаза закрыло, как заплатой, мысль загубила даже брата, да и сознание к тому же низковато, жизнь глядит на нас, но подловато, все остальное только тьмой чревато!

Похоже, что я и Бюхнер способны разве что к самоубийству или какой-то другой банальной нелепости. Бюхнер лежит на полу, по его лицу блуждает сардоническая ухмылка, а широко раскрытые глаза напоминают две стеклянных колбы, в которых бегают его огромные тараканы.

Я все еще хочу ему что-то сказать, хотя и понимаю, что ему уже давно на все наплевать, в том числе и на меня, и даже уже на мою погибшую Геру, поэтому я оставляю его лежать возле живой половозрелой самки, которая с безумным восторгом разглядывает порожденное собою потомство, и выхожу в город, в его темноту, через окно комнаты Бюхнера, внизу четыре этажа моей глупой и бесполезной жизни, в комнате на полу Бюхнер с его любимыми тараканами, за которыми он как-то умудрился спрятаться вместе со всеми своими проблемами… творящий в одиночестве науку, которая ему лишь и нужна, а сверху звезды, а за ними пустота, и может, моя крошечная Гера…

Я киваю на прощанье лежащему на полу Бюхнеру и прыгаю вниз…

Прощай, мой маленький дружок, великий Бюхнер.

# 4. Когда прощание с землей не состоялось

Самое ужасное, когда женщина преподносит себя как какой-нибудь окорок на прилавке, все глядят на нее, все ее нюхают, даже трогают, а она, Валя Похожева, только бодро смеется!

Ее смех – это призывная волна страсти и безудержного веселья, ее сиськи – это два небольших шарика под розовой кофточкой, а ее глазки – это два волшебных голубых фонарика, да что там глаза, все в ней было необыкновенно, как для Бюхнера в половозрелой самке таракана… И все же в роже Похожевой было что-то фантастически безбожное…

Когда она шла в своем белом халатике по больнице, больные не просто высовывались, они вырывались из своих палат, как возбужденные зверьки из своих нор, и тяжело, просто мучительно вздыхали, самые немощные просто охали, а вот самые предприимчивые шли за ней целым скопом и жадно внюхивались в приторный пряный запах польских духов, и порой где-то на лестнице или в темном углу яростно требовали или жалко просили сегодня же ночью трахнуть ее на дежурстве, и самое странное, что Валя Похожева никогда и никому еще не отказывала!

Просто вся ее добродетель как раз и заключалась в доброй и всегда безотказной самоотдаче всего своего прелестного тела, как будто она знала или чувствовала, что в постоянном его употреблении она укрепляет свое физическое здоровье и расширяет свои духовные познания, ведь мужики после траха почти все рассказывали о себе, возможно, им было стыдно получать удовольствие бесплатно и поэтому они раскрывались ей духовно, во всей широте своего налаженного быта. Большинство из них без умолку болтало о своих злых и непонятливых женах, о не менее вредных и опасных для здоровья тещах, о непослушных и неблагодарных детях, о друзьях, которые занимают деньги и никогда их не отдают и еще черт знает о чем они говорили ей, думая, что это ей будет приятно узнать, и все как на духу.

Некоторые же пытались ей внушить, что и в семьях часто проживают свои бесполезные дни люди несчастные и одинокие. Впрочем, Вале Похожевой было глубоко наплевать на биографию и проблемы своих одномоментных кобелей, просто ей, по ее же признанию, было приятно совмещать работу с удовольствием, время с пользой для себя и для людей… И вот в этой самой больничной чехарде объявился вдруг я собственной персоной. Дело в том, что мое самоубийство не состоялось, что поначалу меня немало огорчило, но потом, когда я уже очутился с переломанной ногой в больнице, я вдруг понял, что Гера ушла от меня вместе с прошлым и что сейчас для меня началась совсем другая, новая жизнь. Теперь нога моя была загипсована, но я умудрялся бегать даже на костылях.

Узнав от одного больного, которому вырезали половину трахеи и который говорил теперь лишь через трубочку, зажимая ее пальчиком, что Валя Похожева, несмотря на свою идеальную внешность, отдалась и ему, и еще полдюжине наших соседей по палате в течение всего одной недели, я тут же вознамерился повторить путь своих больных товарищей, то есть я вознамерился осуществить свою прихоть, свою похотливую экзистенцию, и так вот, сгорая весь от непонятного стыда, я приковылял на своих костылях к Вале Похожевой и прямо, почти не заикаясь, предложил ей встретиться сегодня же ночью где-нибудь на нейтральной территории. Она ласково кивнула головой и прошептала мне на ухо, что будет ждать меня часа в два ночи у двери нашей процедурной, от которой у нее ключи.

Итак, настала ночь, я не спал до двух и через каждые пять минут бегал в коридор глядеть на часы, а потом я еще думал, соображал, как же я буду с ней в этой самой процедурной. Наконец, без пяти минут два я уже тихо встал и на цыпочках дошел до процедурной.

Там, у двери в процедурную, уже стоял какой-то толстый мужик почти в такой же полосатой пижаме, как и я.

– Если ты к Вальке, приятель, то опоздал, иди на хрен, – шепнул он, грозно выпячивая свою грудь. Как я уже успел заметить, у этого мужика обе руки были в гипсе, поэтому я слегка оттолкнул его от двери.

– Думаешь, раз в гипсе, значит, не ударю, – жалобно всхлипнул мужик.

– Думаю, что не ударишь, – усмехнулся я.

В это время к нам подошла Валя.

– Ты уже, Сидоров, вчера получил свое, так что отойди и не мешай, – обратилась она к удивленному мужику и, взяв меня нежно за руку, провела за собой в процедурную, сразу же закрыв дверь на ключ.

– Давай лучше поговорим, – предложил я. Голос мой слегка дрожал, прямо как у двоечника, которого внезапно пригласили к доске.

– Да, ладно тебе, – усмехнулась Валя и стала раздеваться.

В окне ярко горела луна, и с помощью ее лучей я увидел ее обнаженное тело с темной кустистой зарослью между двух пухловатых ног.

– Эх, Валя, – грустно вздохнул я и тоже стал медленно раздеваться.

– Поменьше грусти, дурачок. Сейчас обнимешь мой бочок, – засмеялась Валя, ловко закинув свой лифчик на вешалку…

И вот, когда мы уже совершенно голые, как Адам и Ева, стояли у кушетки, готовые прыгнуть на нее, чтобы тотчас жадно наброситься друг на друга и уплыть в абсолютную, но приятную неизвестность, в дверь неожиданно громко постучали и раздался визгливый голос дежурного врача Дардыкина.

– Сейчас же откройте дверь, – заорал он, как кастрированный кот.

Мы с Валей замерли, как испуганные зверьки, даже дыхание остановилось от этого крика и стука. Глаза у Вали заблестели слезами.

– Откройте, а то хуже будет, – не унимался за дверью зловредный Дардыкин.

Тогда я приобнял Валю за плечо и без слов показал рукой на окно. Окно было раскрыто, а рядом в нескольких сантиметрах от окна свисала пожарная лестница. Мы так же тихо, безмолвно оделись и осторожно спустились по пожарной лестнице вниз, хотя по шуму, вылетающему из окна, было понятно, что дверь в процедурную ломали.

– Сволочи, – сказала уже на земле Валя, – и сами не хотят или не могут, и другим не дают!

– А у тебя есть муж?! – спросил я, усаживаясь с ней под раскидистой черемухой.

– Был, да умер с перепоя, – прошептала она, слегка поеживаясь, – все мужики почти – одно дерьмо!

– Обобщения всегда несправедливы, – заметил я.

– Да, ты тоже хорош гусь, у самого, небось, жена, а тебе еще любовницу подавай! – скривила в усмешке губы Валентина.

– Дура! Да я плевать на все хотел! – крикнул я в звездное небо.

– Да тише ты, дурачок, нас ведь могут услышать, – обвила меня своими теплыми руками Валя Похожева. Мы сидели с ней в кустах, под черемухой, и в двух шагах от главного больничного корпуса, откуда только что сбежали по пожарной лестнице.

Здесь на свежей травке я и овладел Валей Похожевой. Все получилось так быстро, как у зайцев. Теперь мы смущенно сидели и курили, поглядывая на звездное небо… Ничего рассказывать о себе я не стал, а просто сидел, курил и улыбался. Неожиданно она расплакалась и сказала, что не хочет жить. Тогда я предложил ей капсулу с цианистым калием.

– Дурак, откуда ты ее взял? – засмеялась она, держа в руках мою капсулу.

– Да, так нашел, – говорить о том, что мне совсем недавно по моей же просьбе принес Бюхнер, я не стал, да и зачем ей надо было знать, что я тоже совсем недавно хотел обо-

рвать свою жизнь. О том, что я сам, по своему желанию выбросился из окна, никто не знал, иначе бы меня еще отправили в психушку и там замариновали насовсем.

По моей версии, которую подтвердил и Бюхнер, я решил доказать Бюхнеру свою храбрость, пройти по длинному подоконнику, по самой кромке карниза, но нога у меня по нетрезвости подвернулась, и я упал.

– Я ее лучше выброшу, – задумалась она и выбросила ее подальше в кусты.

– А хочешь, я тебе завтра опять дам? – предложила Валя.

– Нет, не хочу, – замотал я головой и встал, пошатываясь, как пьяный.

– Что, брезгуешь мной, да?! – обиженно вздохнула Валя.

– Да, нет, при чем здесь это, – вздохнул я, трогая руками влажную траву под ногами.

– А почему ты не на костылях?! – наконец-то она заметила мое выздоровление.

– Завтра уже выписывают, – я снова закурил и присел с ней рядом на траву.

– Скажи мне все-таки, есть у тебя жена или нет?!

– Была одна прекрасная невеста, но погибла, – тяжело вздохнул я.

– Поэтому-то ты такой странный и психованный!

– А ты такая добрая и безотказная?! – усмехнулся я.

– Идиот! – заорала она, вскакивая с места. В общем, я тоже сорвался на крик. Какие-то странно дикие, совершенно голые в кустах у больницы мы ругались с ней, как два шизика.

– А что это я вдруг раскричалась-то?! – удивилась сама себе Валя, я тоже удивленно замолчал, переминаясь с ноги на ногу.

– Ну, ладно, сядь, чего ты встал, как истукан? – она обняла меня, и мы вместе расплакались.

– Однообразно, глупо и скучно мы проживаем свои жизни, Валя, – шептал я ей сквозь слезы, – ты меня поимела, я тебя – и все, и никто из нас никогда ничего не сохранит, не сбережет!

– А чего сохранять-то, – усмехнулась Валя, – все равно ведь помрем!

И я вдруг опять страшно, просто ужасно как захотел умереть, и кажется, Валя это поняла и перестала смеяться. Лишь рано утром, когда мы вернулись в отделение и когда я уже забирал свои вещи из палаты, Валя Похожева подошла ко мне и тихо сказала: «Если бы ты не был такой молоденький, я бы просто удавилась, но тебя бы ни за что не отпустила!» – и поцеловала меня, никого не стыдясь. Из больницы я вышел как оглушенный, у выхода меня ждал уже Бюхнер.

– Я так и думал, что ты все же оклемаешься, – улыбнулся он, протягивая мне руку.

– А как ты догадался? – усмехнулся я.

– Да у тебя засос во всю щеку! – громко засмеялся он, а я стыдливо опустил свою голову вниз, разглядывая пробегающих мимо прохожих.

Через час мы уже сидели в пивной, и слегка подвыпивший Бюхнер излагал мне свои новые мысли.

– И как вода в унитазе, мы должны катиться в одно неизвестное, – говорил он, помахивая пустой кружкой, – нисколько не уставая думать, как много же зависит от нас самих!

– А может, от Небытия?! – спросил я, но Бюхнер мне не ответил.

# 5. В рудеральном мире людей и растений, или Странное число «777»

После отъезда моих родителей в Израиль, после нелепой и ужасной гибели Геры, не говоря уже о моем неудачном самоубийстве и случайной близости с Валей Похожевой, прошло немало времени. Все эти месяцы я жил как мертвец. Возможно, душа Геры все еще прощалась со мной, или ее диббук[2] никак не мог выйти из меня.

Временами мне действительно казалось, что это живу не я, а Гера, что это она говорит моими устами, управляет моей волей и телом. К тому же расставание с ней было для меня таким тяжелым, что я уже не смог больше работать на скорой помощи, едва учился и сдавал экзамены, пользуясь жалостью всеведущих преподавателей. Родители продолжали звать меня на родину предков, Бюхнер продолжал разводить тараканов и время от времени звал меня к себе или сам приходил ко мне в гости. Я же как будто отрекся от всех, я жил в весьма глубоком уединении, читал книги, много думал, но все это носило характер какого-то бесполезного и напрасного поиска смысла, которого нигде не было.

Постепенно меня, как и Бюхнера, поразила или заразила очень странная болезнь, я вдруг ни с того, ни с сего стал испытывать странную тягу к другим живым существам, просто растения, хотя большую тягу я испытывал к рудеральным растениям, и позже объясню почему.

Была осень. Желтая листва с порыжевшим разнотравьем резко подчеркивали глубину моего собственного исчезновения. Бродя по осеннему лесу, я как будто везде искал душу своей любимой Геры и разговаривал с тенями, с тенями предков, с тенями деревьев, даже старых, обросших мохом пней. Я был очень старым и заблудившимся без Геры и без своих родителей ребенком. Наверное, это было так, потому что смерть Геры настигла меня в наивысшей точке отсчета моей жизни, в точке зарождения моей зрелости…

Я вдруг понял, что я один и что мой Ангел-Хранитель улетел, растаял, а я опустился, уснул и перестал видеть, всматриваться в беспроглядное кипение всех земных событий. Пусть я и встречу свою Геру где-то там, но здесь и сейчас – никогда. Вот она – цена Бессмертия, отсюда двойственность всякого живого на земле…

Как будто всею душою мы там, хотя сами все еще здесь… На какое-то мгновение или даже сонм мгновений вся моя жизнь превратилась в суд над самим собой, и увидел я тогда в своей душе бездну, и нашел свое утешение в природе, в мире растений… Ее метафизика близка была моей печали, близка ощущению исчезновения в любой тихо дышащей твари… Вот так я и окунулся в мир растений и увидел, что они, растения, видят и слышат намного больше и яснее нас, олицетворяя собою такое небытие и бессмертие, какое не может выдумать ни один мудрец на земле…

Просто ботаник искал в растениях капилляры, пестики и тычинки, и плоды, а я искал в них душу, выражающую собой определенное состояние бытия. Так вдруг я увидел, что ель заранее ощетинилась, как еж, уже где-то далеко, на стадии своего возникновения, почувствовав, что она займет одно из самых первых мест в наших традициях и обрядах и что будут ее бедную резать каждый год, чтобы отметить рождение нового года или устелить ее лапками путь уходящего в смерть…

Или растение – вороний глаз, олицетворяет собой не что иное как крест из четырех парных листьев (есть и пять) с черной ягодой посередине, и что ягода – это тьма, бездна внутри

[2] Диббук – душа мертвого, поселяющаяся в живом (евр.).

креста и Божье око одновременно… Как-то благодаря случайности я оказался на далеком лесном озере, где произрастали многие исчезающие реликты…

Именно там я увидел растение чилим – водяной орех.

Его плавающая розетка из множества листьев тоже олицетворяла собою крест, по осени листья становились красными, некоторые листья опадали и оставались четыре, и на воде плавал огненный крест, а его орех был черен и как будто сделан из легкой пластмассы, и белый внутри, а по виду напоминал собою черта с рогами, имеющего с двух сторон по одинаковому носатому лицу, при этом нос его, как и рога, был загнут кверху, будто ловил связь с далеким космосом, откуда получал какие-то сигналы и заранее знал, что будет на этой нечастной земле…

И кроме всего прочего этот черт был связан с огненным крестом розовой жилкой стебля словно живой человеческой артерией… Потом я увидел белую кувшинку, ее я сравнил с рождающейся и одновременно исчезающей звездой, ведь она каждый день поднималась со дна и раскрывала свои цветки для солнца, а с приходом луны снова спускалась на дно…

Это была сказка, которую почти никто не замечал… А еще было растение – лунный или обыкновенный ослинник, растение с желтыми мелкими, но не совсем, цветками, которые, неся в себе отблеск луны, ее самый яркий оттенок, раскрывались только вечером с приходом луны, как будто путая луну с солнцем, за что его люди несправедливо обозвали ослинником, в то время как это растение было рождено под знаком Луны и совершенно не могло существовать без ее света, ибо через свет это растение получало не только энергию ее света, но и знания о других мирах…

Еще я обратил внимание на мордовник, его круглый большой плод весь состоял из множества колючек, соединенных в шар, напоминающий одновременно и землю, и нашу голову… Эта земля покоилась на стебле с колючими листами, олицетворяя собой всякую жизнь на земле, произраставшую в терниях…

Однако больше всего меня привлекли к себе рудеральные растения, это растения, которые сумели приспособиться к нашим нечистотам, грязи и поэтому селились рядом с человеком. Казалось, что эти растения, несмотря на свое различие между друг другом, впитали в себя всю нашу грязь и порочность, а поэтому уже не могли без нас существовать, просто они жили этой порочностью, они вдыхали в себя ее зловонный аромат на свалках и возле наших домов, они по безумному грелись в лучах пыльного и окутанного дымом солнца, потому что им, как и нам, на все было уже наплевать… Правда, временами я осознавал, что наделяю все эти растения оттенками своих чувств и переживаний и делаю это порой умышленно, чтобы мне было легче находить в них свой глубоко запрятанный смысл… Может, смысла и не было, но я с этим просто не соглашался, и, может, поэтому меня больше всего притягивали к себе именно рудеральные растения, порочные создания земной тщеты…

Прошла осень, за ней зима, потом весна, опять наступило лето. Я, как ни в чем не бывало, сидел на поваленном дереве в небольшой рощице недалеко от города и возле небольшой кучи с мусором глядел на рудеральные растения, которые уже успели образовать здесь здоровый бурьян. Здесь рос и чертополох, и лебеда, и чернобыльник, и крапива, и лопух, в общем, глаза разбегались от этого безумного разнотравья.

Однако изучать рудеральные растения мне, как назло, мешали чьи-то неприличные стоны и весьма глупая возня, происходящая в зарослях того же самого бурьяна.

– А потише нельзя?! – громко спросил я, и стоны тут же прекратились, как и возня. Наступила та самая благодатная тишина, когда хочется мысленно слиться с любым растущим возле тебя рудеральным растением, вдохнуть поглубже в себя его порочный запах и насладиться просто тишиной, но когда я всего лишь попытался заняться своим любимым делом, как в это же время, будь он неладен, из бурьяна к вершинам стройненьких березок взлетел отчаянно свирепый баритон:

– Козел, ты нам весь праздник испортил!

В общем, я как-то быстро раздумал изучать свои любимые растения и поэтому, схватив с небольшого пня тетрадь с ботаническим словарем, отряхнулся, встал и пошел, размышляя о превратностях бытия. Буквально уже через минуту меня догнал тот самый мужик, который в недалеком прошлом домогался Вали Похожевой у дверей процедурной.

– Ага, это ты! – радостно закричал он, сжимая тут же пальцы в кулаки.

– Да, это я, – ответил я спокойно и, не дожидаясь, пока он меня ударит, одним хуком слева уложил мужика на траву. Теперь он лежал на траве в маечке и трусах, как будто спортсмен, уставший после быстрого забега.

– С вами все в порядке? – спросил я, опускаясь рядом с ним на травку.

– Да, вроде бы, – мужик неуверенно приподнялся и внимательно поглядел на меня.

– Руки-то как, зажили? – спросил я.

– Ну, зажили, ну и что? – обиженно рявкнул он.

– Вить, дай ему в морду! – закричала какая-то баба в кустах.

– Да, подожди ты! Не суйся не в свое дело! – он встал и неожиданно пожал мне туку, – ты уж извини, я тебя сначала и не признал! Мы же с тобой вместе в больнице лежали!

– И даже из-за женщины сцепились, – усмехнулся я.

– Видно, это судьба, – сказал мужик, почесывая затылок, – ну, ладно, ты уж иди себе, а то меня баба ждет! – мужик сплюнул три раза через левое плечо и более уверенной походкой скрылся в кустах.

И тут мне стало стыдно, я вдруг вспомнил, как я уединялся с Герой на берегу реки, как валялся в кустах у больницы с Валей Похожевой, и неожиданно почувствовал, что безо всякой на то причины обидел двух незнакомых мне людей, которые, может быть, и не отличались какой-то идеальной, расписанной в умных книгах моральной чистотой, но вполне могли быть счастливы в пределах этого заросшего небольшим лесом пространства, и мне сразу же захотелось подойти к ним и извиниться, что я и сделал, то есть я опять подошел к бурьяну и опять услышал хорошо знакомые стоны, переходящие в ликующие повизгивания, и мне надо было бы уйти, но я почему-то, и сам не знаю почему, довольно-таки ясно и четко извинился, причем от себя я такого странного поведения не ожидал, и, может, поэтому меня даже прошиб озноб или еще чего-то, но в общем, я ничего не соображал. Из бурьяна показалась голова того самого мужика.

– Ты чего это?! – удивленно прищурился он.

– Да, я ничего, я просто решил извиниться. Так что извините меня, пожалуйста! – запинаясь, я еле повторил свою фразу, а мужик вдруг громко захохотал.

Тут же из бурьяна выпорхнула голова его женщины. Она с лукавой улыбкой взглянула на меня и тоже залилась идиотским смехом.

Я стоял в нерешительности, переминаясь с ноги на ногу, и все никак не мог придумать, как бы побыстрее выйти из этой нелепой ситуации, и поэтому извинился перед ними в третий раз. Теперь они уже не смеялись, а хрюкали.

Тогда я в четвертый раз сказал им: «Извините меня, пожалуйста!»

Они уже не хрюкали, а стонали, причем их стон нисколько не отличался от того самого животного и похотливого стона, который они совсем недавно воспроизводили вдвоем, и мне почему-то самому стало смешно, и я громко рассмеялся, но они вдруг перестали смеяться и уже с явной ненавистью глядели на меня, но стоило мне еще лишь раз извиниться перед ними, как они тут же взорвались новой порцией смеха, и вообще мне стоило большого труда сойти с места и уйти от них. Где-то глубоко у себя под сердцем я чувствовал Геру, а, может, это был ее диббук, который не давал мне покоя и все время говорил моими устами и управлял моей волей.

Выйдя из рощи по тропинке в поле, я упал на траву и стал глядеть на плывущие в небе облака. Мне нравилось, что они быстро меняли свои очертания и так же быстро исчезали, причем исчезали они не от дождя, а от одного моего взгляда, в котором я мысленно направлял свое желание об их быстром исчезновении. Потом я разглядывал у себя под рукою цветки куриной слепоты, словно ища в их тусклой желтизне оправдания собственному существованию.

Все-таки я не верил в то, что в меня вселился диббук Геры, я мог говорить, видеть, слышать, но все это я делал так, словно употребил большое количество транквилизаторов, сквозь туманную и расплывчатую дымку ее смерти, я никак не мог избавиться от ощущения своей жалкой никчемности.

Я вряд ли помешал ее спасению, ведь она уже еле дышала и получила такие повреждения, которые вместе образовали так называемую сочетанную травму, и каждое из повреждений могло бы явиться причиной ее смерти, и все равно я корил себя за то, что не мог из-за своих же слез попасть ей иглой в вену, а самое главное – никто не знал, даже ни один врач, могла бы она выжить или нет. И все равно мне хотелось бы, чтобы вы уяснили себе четко, что после смерти Геры во мне произошли какие-то странные изменения, и я готов поклясться даже черной свечой,[3] что «я» это уже не совсем «я», а какое-то третье, едва постижимое существо.

Возникала также мысль, что меня – просто зомбировали, но кому это было нужно и было ли нужно вообще, это оставалось за гранью моего не такого уж и богатого опыта.

И тут я вспомнил про тетю Розу, которая жила не так уж и далеко от меня, и к тому же была единственным родным человеком, до которого бы я мог быстро добраться. Я хотел успокоить себя общением с ней и, может быть, с ее помощью разобраться в себе.

Я посмотрел еще раз на небо, как одно облако превратилось из дракона в змея и быстро исчезло от моего взгляда, и поспешил на вокзал. До тети Розы надо было добираться на поезде почти весь день.

Это число – три семерки – я неожиданно увидел на вокзале на лбу одного пьяного мужика, и очень удивился, вспомнив, что эти же цифры я где-то видел, и вообще в моей голове сразу же замелькали какие-то цифры, крючочки, крестики и даже фашистские свастики.

– Ну, че смотришь-то?! – сказал мне пьяный мужик, – или татуировки никогда не видел?!

– А что эти цифры обозначают? – спросил я.

– Ты, чё, портвейна такого что ли не пил, братан? – рассмеялся мужик и пошел своей дорогой.

Я еще немного постоял на одном месте, пытаясь что-то вспомнить, а когда вспомнил, побежал на поезд, но поезд ушел у меня прямо из-под носа, и я неожиданно опять увидел этого мужика с тремя семерками на лбу, как он сосредоточенно подбирает пустые бутылки на перроне возле урн и кладет их к себе в холщовый мешок. Тогда я опять подошел к нему и стал глядеть на его лоб, на эти самые три семерки. Мужик опять хитро прищурился и произнес ту же самую фразу о портвейне, и рассмеялся…

И тут я понял, что мужик кем-то зомбирован. Я внимательно огляделся по сторонам, но никого не увидел. Мужик что-то пробормотал себе под нос и, набрав полный мешок бутылок, пошел с вокзала, а я тронулся вслед за ним.

Теперь для меня важно было выяснить, кто и почему зомбировал этого мужика и что же все-таки означают у него на лбу эти самые три семерки. Через некоторое время мужик подо-

[3] Черная свеча – метафизическая субстанция, пустота, из которой произошел весь мир (евр.)

шел к торговой палатке и сдал все бутылки, а потом купил себе пива и присел на скамейку. Я тоже купил себе бутылку пива и присел рядом.

– Ты, чё, – узнал он меня, – такого портвейна что ли не пил, братан?! – он опять засмеялся. Теперь его смех уже стал меня очень раздражать, и от обиды я даже неожиданно заплакал и грустно посмотрел на мужика. Мужик засмеялся еще громче, показывая пальцем то на меня, то на стоящего рядом милиционера, и тут я понял, что этот самый милиционер и зомбировал этого мужика, присвоив ему свой порядковый номер «777», а портвейн, конечно же, был не причем, просто это было чистым совпадением, и будто в подтверждение моих мыслей милиционер вдруг подошел к мужику и, грубо схватив его за плечи, потащил за собою. Мне стало жалко мужика, и я попытался его вырвать у милиционера, но милиционер ударил меня по голове дубинкой и тоже другой рукой схватил за шиворот и потащил за собою. По дороге я попытался узнать у него, почему он присвоил мужику такой странный порядковый номер, но в этот момент мужик вырвался у него из его правой руки, и милиционер, отпустив меня, побежал за мужиком. Я долго стоял на одном месте и смотрел им вслед. В это время я думал о том, каким же громадным должен быть наш мир, чтобы человек в нем ничего абсолютно не понимал. Эта мысль сделала меня таким несчастным, что я опустился на скамейку и просидел на ней до самого утра.

Рано утром около меня на скамейку опять пришел тот самый мужик с тремя семерками на лбу, теперь он пил уже не пиво, а водку и заедал ее батоном, но я уже не обращал на мужика никакого внимания, теперь это странное число «777» на его лбу меня уже нисколько не волновало. Мужик посмотрел на меня, узнал и опять засмеялся, но я только равнодушно зевнул и подумал, кто же нас сделал такими глупыми и такими несчастными, а потом встал и пошел на поезд. Кажется, теперь я был самим собой.

Я даже не думал о том, что меня кто-то зомбировал, просто мне это было не интересно, хотя бы потому, что я просто наслаждался ощущением собственного разума, который был свеж и чист, как утренний ветер, чудно шевелящий кроны деревьев, а еще я наслаждался собственной свободой, пусть даже и в границах привокзальной площади, за которой меня ждала хорошо знакомая дорога, но куда-то в Неведомое, которое казалось теперь ласковым и добрым, как те же самые три семерки, что я опять увидел на лбу у пьяного мужика, который, кстати, сел со мной в один поезд и стал подбирать бутылки, валяющиеся под сиденьями, и смеяться о чем-то своем, и разговаривая только с самим собой и никого вокруг не замечая.

# 6. Со мною кто-то тайно говорит, а мною кто-то тайно управляет

В поезде со мною случилось нечто странное, я вдруг стал слышать голоса, их было много, и все они перебивали друг друга, но один из них, самый настойчивый и громкий и очень похожий на голос Бюхнера, говорил мне о том, что у его тараканов стали являться самые разные видения, а у его любимого Тутанхамона было видение, что он не Тутанхамон, а Бюхнер, в том смысле, что он почувствовал себя человеком, но никто из тараканов не захотел его слушать, и все подумали, что он несет какой-то пьяный бред…

– Стоп! – сказал я сам себе, – тараканы не знают пьянства, а поэтому и не могут нести пьяный бред! Бюхнер сразу же замолчал, да и все остальные голоса куда-то пропали. Однако чуть позже, когда напротив меня села незнакомая девушка, одетая почти в прозрачное платье и вызвавшая во мне смесь конфуза с возмущением, потому что курила прямо в вагоне, пуская дым колечками в мое хмурое лицо.

– Нечего пялиться, дурак! – слышал я ее голос, хотя она спокойно сидела напротив меня, нахально закинув ногу на ногу, приподняв край платья аж до самых трусов.

– А я, между прочим, и не пялюсь, – сказал я, – а в вагонах курить запрещено!

– Дурак, – уже вслух сказала девушка.

– Сама дура! – сказал я и неожиданно пукнул.

– Пи-пи-пи-пис! – по-мышачьи тонко пискнула девушка, прикрывая смеющееся лицо ладошкой.

– Все-таки она не очень далекого ума, – подумал я и, тяжело вздохнув, вышел в тамбур вагона. Настроение мое, конечно же, испортилось, и теперь я думал, как бы отомстить этой глупой девке, как бы показать ей, что я при любых обстоятельствах могу взять себя в руки и доказать, что я могу быть выше всяких заманчивых дур.

Потом я несколько раз глубоко вздохнул и вернулся в купе. Теперь уже я вальяжно расселся, закинув ногу на ног, и бесцеремонно стал разглядывать девку.

– А что вы так смотрите? – покраснела девка.

– Хочу и смотрю, – усмехнулся я, – как говорят, чтобы хорошо поработать, надо хорошо отдохнуть! – на этот раз я приветливо ей улыбнулся.

– А к чему вы мне все это говорите?! – удивилась девка.

– Для меня очень важно, чтобы отдых никак не был связан с моей учебой, – я продолжал благодушно улыбаться.

– Чтобы по-настоящему отдохнуть, нужно обо всем сразу забыть и куда-нибудь подальше уехать, – загадочно улыбнулась девка.

Вся прелесть нашего разговора состояла в том, что я слышал ее внутренний голос, и прежде чем она решалась мне что-то сказать, я уже вслух произносил ее мысль только от себя.

– И ни в коем случае нельзя экономить, – серьезно добавил я.

– Такая экономия сослужит медвежью услугу, – согласилась девка.

– Знаете, меня как молодого медика лечит только секс, – засмеялся я. В эту минуту я готов был поклясться, что мной опять кто-то тайно управлял и говорил моими устами, и даже в мыслях грубо называл ее девкой.

– А мою душу питают только любовь и семья, – гордо произнесла девка и опять закурила, – вот жалко только, что никак не могу бросить курить!

– А может, вам надо заняться самовнушением?! – чудовище опять захихикало, но это был не я.

– Конечно, надо учиться владеть своим организмом, – согласилась девка, – но, к сожалению, это не всегда получается!

– А правда говорят, что курящие женщины более склонны к супружеским изменам?! – на мгновение я даже захотел вылететь из тела, но это было просто физически невозможно.

Вопрос как-то безобразно повис в воздухе, а потом девка резко встала и будто ошпаренная выскочила из купе.

– Ну, вот довел девочку, – упрекнул я чудовище, завладевшее моим телом.

– Ничего и не довел, ты просто не разбираешься в самках, – ответило мне чудовище голосом Бюхнера.

– Да, ну тебя к черту! – крикнул я, хватая самого себя за горло.

– Подожди, подожди, – стало умолять меня чудовище, – подожди всего одну минутку, и ты своими глазами увидишь мою правоту!

Я действительно немного успокоился и решил полностью отдаться любому повороту своей неожиданной судьбы, для успокоения я даже взял из пепельницы недокуренную ею сигарету и с каким-то немыслимым наслаждением затянулся, еще сильнее удивляясь происходящим со мной переменам.

Внезапно она вернулась и так же резко села на свое место.

– Если вы очень хотите, то я готова, – сказала она.

– К чему вы готовы?! – покраснел я, чувствуя, как чудовище опять покидает мое тело.

– Я готова к супружеской измене! – громко воскликнула она и сорвала со своей шеи розовый шелковый платок.

– А мне показалось, что вы, наоборот, всеми силами стараетесь ее предотвратить, – застенчиво улыбнулся я.

– Ну, ладно, шутки в сторону, – она резко встала, быстро закрыла дверь купе на защелку, а потом сняла с себя юбку и кофту и легла, закрыв глаза.

– Ну, что же ты ждешь? – прошептало снова чудовище, уже воспроизводя пьяный смех мужика с тремя семерками на лбу.

– Заткнись, – прошептал я, и чудовище тут же пропало, а я спокойно докурил сигарету и стал медленно раздеваться…

– Иногда раскрываешь в себе такие силы, такие ресурсы, о которых даже и не помышляешь, – часом позже говорила мне она.

– И самое главное, что все происходит само собой, – поддержал ее я.

– Как будто все мы находимся под гипнозом, – глубоко вздохнула она.

– Или под чудовищем, – подумал я. Минуту спустя она тихо заплакала и опустилась передо мной на колени.

– Наверное, это действительно гипноз, – прошептал я и тоже тихо заплакал. Поезд уже подходил к конечной станции. На перроне ее уже ждал могучего и спортивного телосложения муж с букетом алых роз.

Он крепко обнял ее и сказал: «Как же я соскучился по тебе, Любаша!» Вот так я и узнал ее имя, хотя теперь оно мне было ни к чему, я шел по улицам малознакомого мне города, в котором по моим воспоминаниям жила тетя Роза.

У меня был ее адрес на клочке бумаги, который оставили мне родители, а еще у меня было сильное желание расстаться с тем, кто мной владел, владел бесплатно, нагло, самым бесстыдным образом вовлекая меня в водоворот таинственных страстей, от которых мое сознание еще сильнее растворялось и делалось таким прозрачным и таким страшно пронзительным, что мне от страха хотелось снова сорваться с любого окна и в полную неизвестность, чем страдать от неизвестного чудовища. – Ну и дурак же ты, – оно снова захихикало голосом Бюхнера, хотя сам Бюхнер вряд ли когда-нибудь мог такое мне сказать.

Вскоре землю навестили сумерки. Желая растворить свою печаль, я напился водки прямо на вокзале с каким-то пьяным мужиком, которого звали Петр Петрович.

Петр Петрович рассказал мне одну страшную историю, которую он сам назвал: «Гадание на трупах». Эта история приключилась с ним совсем недавно, всего лишь год тому назад, и именно в этом самом городе. Однажды Петр Петрович находился в очень странном положении, рано утром он лежал на тротуаре и глядел, как я, на небо, на долго плывущие в нем облака, почему-то в его глазах все облака были толстенькие и кругленькие, как жуки-навозники. «Они даже слегка поблескивали, – говорил Петр Петрович, – но дело даже не в этом, просто я в первый раз почувствовал себя мужиком, хотя от этого было немного стыдно».

Однако он все же нашел в себе силы подняться, а когда увидел, что его внимательно изучает какой-то милиционер с противоположной стороны улицы, то Петр Петрович ощутил легкий приступ страха и забежал в какой-то переулок. В переулке мимо него проковыляла пьяная старушка, у которой на шее висел транспарант, а на транспаранте был нарисован череп с перекрещенными костями, а под ним надпись: «Гадание на трупах!»

Петр Петрович ущипнул себя за одно место, а потом на цыпочках пошел за старушкой. Неожиданно для себя Петр Петрович услышал, как старушка напевает не менее странную песенку:

Спи, моя гадость, усни,
В морге погасли огни,
Трупы на полках лежат,
Мухи над ними жужжат,
Спи, моя гадость, усни,
Скоро там будешь и ты,
Будешь на полке лежать,
Будут мухи над тобою жужжать!

– Да, она просто сумасшедшая, – подумал Петр Петрович и сразу же успокоился и смело прошагал мимо поющей старухи. В это время сверху на голову бедного Петра Петровича упал кирпич с крыши старого трехэтажного здания, а Петр Петрович сказал только одно слово: «Гадость!» и умер (то, что он умер, он в этом нисколько не сомневался).

Тело Петра Петровича привезли в городской морг и положили на полку. Наступила ночь. В морге никого не было, потому что сторож боялся спать в морге, а поэтому спал на лавочке возле входа. Вскоре над Петром Петровичем зажужжали мухи, и Петр Петрович со страхом раскрыл глаза и увидел себя в морге среди покойников. От ужасного впечатления Петр Петрович даже не мог раскрыть рта. Тогда к нему подошел самый старый покойник и сказал: «Ты не бойся, друг, здесь все свои!»

– Нет, я, кажется, все-таки живой, вашу мать! – сказал, чуть не плача, Петр Петрович и, оттолкнув от себя старого покойника, вышел из морга.

Увидев спящего на лавочке сторожа, Петр Петрович разбудил его и попросил закурить. Сторож спокойно отдал ему спички с папиросами и освободил ему место на лавочке, приняв сидячее положение.

– И что вам, покойникам, все никак не спится?! – спросил его сторож.

От удивления Петр Петрович даже выронил папиросу.

– А вот папиросину-то ронять нехорошо, – сторож поднял папиросу и бережно положил ее в пачку, которую ему назад вернул Петр Петрович.

– Я не покойник, – обиженно вздохнул Петр Петрович, отсаживаясь подальше от сторожа.

– А то я не вижу, – усмехнулся в ответ сторож, тыча пальцем в бирку с номерком на ноге Петра Петровича.

– Они, верно, думали, что я уже усоп, а я только вздремнул, – попытался улыбнуться Петр Петрович.

– Так я тебе и поверил, – с досадой поморщился сторож. В это время из морга вышел старый покойник, который недавно беседовал с Петром Петровичем.

– А что, уже похолодало, – сказал покойник, зевая, и даже не спрашивая у сторожа разрешения, вытащил у него из пачки папиросу и закурил.

– Вот так каждую ночь, – пожаловался сторож Петру Петровичу, – никакого покоя от вас нет!

– А на хрена нам покой-то, – заругалась мертвая баба, выползшая из морга на четвереньках, – вот зароють в земле, тогда и будет всем нам покой!

– А если я не хочу?! – дрожащим шепотом спросил Петр Петрович.

– Все не хотят, – добродушно усмехнулся старый покойник, – зато потом так здорово будет!

– А как будет-то? – встрепенулся сторож.

– Хорошо будет, почти как при коммунизме, – мечтательно произнес старый покойник.

– Да ну вас всех к лешему! – махнул рукой Петр Петрович и, быстро поднявшись со скамейки, уверенным шагом зашагал в сторону ночного города.

– Гей! – крикнул, догоняя его, сторож, – ты куда?!

– Я не гей, – обиженно крикнул в ответ Петр Петрович и быстро-быстро побежал, выбегая уже за ворота больницы.

Неожиданно из-за угла соседнего здания выскочила машина скорой помощи и сбила на полном ходу бедного Петра Петровича.

Санитары с врачом тут же уложили Петра Петровича на носилки и втащили в машину.

– А что, братцы, я еще жив?! – приподнялся, с тревогой их спрашивая, Петр Петрович.

– Лежи, братец, лежи, – посоветовал ему врач, а мы уж тебя как-нибудь спасем!

На следующее утро Петр Петрович очнулся на больничной койке. Вокруг него стояли удивленные врачи, которые с большим любопытством осматривали и ощупывали его тело.

– Больной, – сказал упитанный врач в золотых очках, – вы где должны были находиться?! Вы же должны были лежать в морге!

– А что я, мертвец что ли?! – застенчиво пробормотал Петр Петрович.

– Выходит, что нет, – кивнул головой врач, и все дружно захохотали.

– Вот так случайно я остался живым, – закончил свою историю Петр Петрович. Мы еще очень долго сидели с ним, пили водку и общались, как два старых приятеля.

Однако общение с Петром Петровичем нисколько не успокоило, а напротив, взбудоражило меня самым наигнуснейшим образом, к тому же где-то в конце нашей беседы Петр Петрович почему-то начал оскорблять меня и даже умудрился укусить за левое ухо, а потом его как-то неосторожно вырвало на меня, т. е. на мой костюм, и теперь я был не только пьяный, но и весь грязный, как черт. Идти в таком виде к тете Розе я не решился и поэтому до утра надумал заночевать в одном из подъездов близлежащих домов.

Выйдя из привокзального ресторана уже далеко за полночь, я весь промок до нитки, зато дождь все же немного очистил меня, хотя галстук все же пришлось выбросить.

Петр Петрович был настолько пьян и невменяем, что так и остался сидеть на унитазе привокзального сортира, где я его и оставил в целости и полной сохранности (непонятно только для кого, поскольку такие люди, если и бывают нужны, то только сами себе, впрочем, то же самое я мог бы сказать и о себе).

Моя Гера умерла, родители улетели в Тель-Авив, мой друг Бюхнер больше всего принадлежал своим тараканам, чем мне, моя тетя Роза не была столь близким и родным чело-

веком, чтобы я по-настоящему мог просить у нее какой-то помощи, но самое ужасное, что со мной стали происходить какие-то невероятные вещи, мне стало казаться, что во мне поселился кто-то другой или что я кем-то зомбирован, и самое главное – ни одна моя разумная мысль не могла дать этому хоть какого-то логичного объяснения.

Именно в таком кошмарном состоянии я зашел в один из подъездов и уселся на подоконник, и закурил один из подобранных мной бычков. Прежде всего мне хотелось избавиться от этого ужасного запаха, который теперь распространяла вся моя одежда, а потом, если каждое действие должно быть обосновано, то значительно веселее курить, чем вообще ничего не делать.

Через час я докурил, и бычком начертил на оконном стекле в углу крестик, эту привычку я приобрел с тех пор, как погибла моя Гера, это в память о ней я ставил такой крестик и подолгу глядел на него. Я даже не помню, как я заснул. Проснувшись, я некоторое время никак не мог сообразить, где я и как здесь очутился. Какая-то молодая красивая женщина, совершенно голая и в норковом манто на плечах, наманикюренным пальчиком манила меня к себе.

– Эге, приятель, вот так удача, – подумал я, – неужели мне все это снится?!

Захожу я в ее квартиру, а там в большой комнате на столе мужик какой-то в гробу лежит в черном костюме и при галстуке, а на ногах черные блестящие ботиночки с белыми носками.

– Это муж мой, – говорил мне баба, а сама меня в ванную гонит, говорит, уж больно вонючий! Наверное, лет сто уже не мылся?!

– Ага, – говорю я и с удовольствием лезу в ванну, а она тем временем всю одежку мою выбрасывает, а вместо нее точно такой черный костюм мне приносит, как у ее мужа в гробу, и лезть мне в него чего-то неприятно и боязно, и вообще все как-то странно получается, взяла и позвала просто так совсем незнакомого мужика, да еще помыла и одела.

– Ну, ладно, – думаю, – хер с ней с этой одеждой и покойником в гробу.

Одеваюсь я, уже помытый и причесанный, и выхожу к ней на кухню, а у нее уже и стол наготове стоит, и водочка из морозильника блестит, талыми капельками-то вся переливается, и сальце на тарелочке, и огурчики, и салатики там всякие-то разные, а дама моя все в том же манто на плечах и голая.

– Ну, – говорит, – выпьем за покойничка! – и чокается со мной.

– А что, покойник-то, хороший мужик был?! – спрашиваю.

– Да, как вам сказать?!

– Как хотите, так и говорите!

– И не так, и не сяк, а все, – говорит, – наперекосяк! Бывал хороший, бывал и плохой, а то и вовсе никакой!

– А что, – говорю, – вы все не одеваетесь-то?!

– Да, что-то все не одевается мне, – вздыхает томно она и глазки этак лукаво закатывает, пойдем-ка лучше в постельку, – и берет меня за ручку и подводит к кровати в большой комнате, где гроб с ее мужем стоит.

– Да, нехорошо как-то, – говорю, – у гроба-то, да и люди неправильно поймут!

– А где, люди-то?! Мы что ли люди?! – смеется она, а сама меня в кровать тащит, ну, тут-то нечистый и попер из нас, и минуты не прошло, а я уже на ней оказался…

Тут муж ее из гроба встает и говорит мне: – Ты почто мою жену е*ешь?!

Жена его подо мной тут же дух испустила нехороший, а муж ее опять в гроб завалился и больше уже не подымался. Только спустя минуту я смог прийти в себя и, три раза перекрестившись, молча встал и оделся, и опрометью кинулся из квартиры, а когда дверь за собой закрывать стал, то услышал, как в большой комнате раздался дружный хохот, и мне стало не по себе, я даже чуть в обморок не упал, но все же кое-как переборол себя и вернулся

обратно в комнату, но они, вроде, лежали мертвые, я еще раз перекрестился и опять пошел закрывать дверь, как вдруг опять услышал гнусный хохот, на этот раз я уже смело вбежал в комнату и пристально стал вглядываться в их лица, и видел, как у покойника в гробу вздрагивает левое веко.

Это так разозлило меня, что я тут же вытряхнул его из гроба, но он все равно продолжал лежать как мертвый. Тогда я взглянул на нее, она продолжала оставаться такой мертвой, какой и была, но только почему-то мне показалось, что положение ее раздвинутых ног было не таким, как раньше, и что ее левая нога слегка согнулась в колене. Тогда я подошел к ней и, встав на четвереньки, приложил свое правое ухо к ее левой груди и услышал биение ее сердца, но в этот момент кто-то сзади ударил меня чем-то по голове, а дальше я ничего не помню.

Очнулся я уже на улице, но в своем костюме, каком я и был до этого, только он был чистый и отглаженный, и даже галстук на мне был почти такой же, как и раньше, только с другим узором, а тут еще гляжу себе под ноги и вдруг вижу, что на ногах-то у меня ботиночки блестят черненькие, как у покойника в гробу, а из-под них носочки белые красуются, так и задрожал весь от волнения-то. Вот это, думаю, анафема! Так ведь запросто и спятить можно! А тут еще этого Петра Петровича вспоминаю с его бредовой историей. Вот ведь, думаю, чего только не бывает на свете!

Потом встал я около автобусной остановки, возле которой валялся, помочился и пошел себе, по сторонам озираясь, а была еще темная ночка, и никого вокруг не было, ни одной живой души, в домах свет нигде не горел, только фонари на столбах слабо освещали этот безумные город, и тут я решил, что будь что будет, а я их все равно найду! Зачем мне это было нужно, я не знал, а все же чувствовал в этом возможность найти объяснение всему, что со мной происходило в последнее время, поэтому, пользуясь ночным безлюдьем, стал я заходить во все подъезды и искать тот самый подоконник, на котором сидел и бычок свой курил, да им же крестик на оконном стекле в углу оставил.

И ходил я очень долго, и глаза уже начали уставать, как вдруг увидел я наконец на одном окошке свой черный крестик, и было у меня такое ощущение, что я прикоснулся к какой-то необъяснимой тайне. Теперь мне надо было подняться всего лишь на один лестничный пролет и постучаться в крайнюю дверь, однако стучаться я не стал, а просто вынул из кармана свою старую булавку и потихоньку открыл ею замок. В квартире царила полумгла, я зашел осторожно в большую комнату и увидел на столе в гробу ее. Она лежала голая и все в том же норковом манто на плечах.

Возле гроба горело несколько свечек в больших длинных бронзовых подсвечниках, и больше никого не было. Тогда я зашел в соседнюю комнату. Там тоже стоял стол, а на столе в гробу лежал ее супруг в черном костюме, а вокруг тоже слабо мерцали свечки. Не знаю, какая сила меня заставила спрятаться за штору у окна, но я там тихо встал, ожидая новых потрясений. Сердце моё колотилось с такой бешеной скоростью, как будто готово было выпрыгнуть из моей грудной клетки, пот покрыл мой лоб и мои ладони, а глаза слезились постоянно, отчего и комната, и гроб, и свечки – все расплывалось в моих глазах, принимая еще большие чудовищные очертания.

Ожидание растянулось словно на целую вечность, хотя уже спустя какой-то час в комнату вошла она, все такая же голая и в норковом манто, и легла к нему в гроб, и они вдруг стали заниматься любовью. Это было одновременно и ужасно, и красиво, на потолке расплывались их две причудливых тени, свечи постоянно вздрагивали в такт их ритмичным движениям, потом они одновременно вскрикнули, и наступила какая-то напряженная зловещая тишина, порой мне казалось, что они увидели меня за шторой и теперь думают, что со мной делать, но прошло еще несколько минут, и она ему сказала: «Все, я уже устала!»

И когда она поднялась из гроба, то я своими глазами увидел, как она улыбается в гробу, а его перекрещенные руки все так же спокойно лежат на груди, и тогда я подумал, что это не люди, а духи, которые овладевают некоторыми людьми и как бы существуют, и на самом деле, я бы хотел подумать и еще чего-нибудь, но в этом состоянии, в каком я находился, было не только бесполезно, но и абсолютно чудовищно о чем бы то ни было думать. Уже в предрассветных сумерках, едва освещенных краем солнца, я вышел из-за шторы. Он тихо спал в гробу, когда я зашел в большую комнату.

Она лежала в гробу и спала. Ее волосы блаженно разметались в красивом, огненно-красном беспорядке, а норковое манто едва прикрывало ее прекрасную голую шею. Уже не в силах сдержать искушения, я сорвал с себя всю одежду и с нежным трепетом опустился к ней в гроб, и она, не раскрывая глаз, стремительно обняла меня, жадно кусая мои губы…

На какое-то мгновение я даже почувствовал себя ее мужем. Это был сон во сне. Я вспоминал, как любил во сне мертвую Геру, а потом раскрывал глаза и видел себя с обнаженной красавицей в гробу, чьи ресницы, как свет-мерцание свечей тихо вздрагивали в такт нашим пульсирующим движеньям.

Как будто вверх и вниз неслась моя душа… Я кусал ее тело, чтобы не закричать от счастья и снова не вызвать разгневанный дух ее супруга, все так же обитавшего в гробу… Потом я поднялся и, одеваясь, поглядел на нее. Ее ресницы все еще вздрагивали, а губы сложились в нежную улыбку…

Я поцеловал ее на прощанье и вышел из квартиры. Я даже не пытался запомнить ее номера, чтобы когда-нибудь вернуться обратно… Я все уже как будто знал о себе, а ничего другого мне не было нужно, я был счастлив и здоров тем, что я просто существую, могу видеть и слышать людей и отдавать им то, что они внезапно заслужили или выпросили у меня.

Было ранее утро, когда я вышел из этого дома. Опять шел сильный дождь, но я уже не прятался от него и не вздрагивал от холода. Беспокойные люди пробегали мимо меня с зонтами, а я шел с блаженной улыбкой к вокзалу, напевая старую и почти позабытую мелодию колыбельной, которую когда-то напевала мне мать. Где они, мои душевные родители, и почему я все еще один?! Впрочем, я уже для себя решил, что мне никто и никогда больше не поможет, да и не ждал я уже ни от кого никакой помощи, ибо помощь мне была уже оттуда, куда мы все уходим без следа…

# 7. Тема лекции: Проблема Трансцендентных явлений в современной психиатрии

– Проблема трансцендентных[4] явлений в современной психиатрии состоит в том, что в настоящее время наблюдаются и довольно нередко, случаи, которые ни один врач-психиатр не может подвести под общепринятую квалификацию психических заболеваний. Одним из таких проблемных трансцендентных явлений можно назвать многофакторную галлюцинацию, которая может в себе содержать некоторые признаки шизофрении или имбицильности, однако эти признаки носят весьма кратковременный характер и поэтому не поддаются никакой диагностике. Любой из нас может столкнуться с чем-то необъяснимым и выходящим далеко за пределы нашего разума и интеллекта.

Я с интересом слушал лекцию профессора Эдика Хаскина, одновременно рисуя в тетради голую женщину, лежащую в гробу с норковым манто на плечах.

– У тебя что, уже крыша от его лекций поехала?! – сочувственно спросил меня Бюхнер.

Я в ответ лишь улыбнулся, глядя на Бюхнера, потому что он под столом прятал колбу со своим любимым Тутанхамоном, которого иногда сажал себе на правое колено и любовно поглаживал рукой, а Тутанхамон в ответ гордо пощелкивал чешуей своего здорового панциря.

– Да, кто там щелкает, в конце концов?! – нервничал Хаскин, глядя на которого тоже было трудно удержаться от смеха.

Каким-то странным образом мое настроение поменялось. Я хотел смеяться, шутить и, самое главное, иными словами, я пытался сопротивляться собственному же бессмыслию и меланхолии, из которой, как я подозревал, и росли крылья у моих безумных галлюцинаций, хотя было ли это галлюцинаторным проявлением моего ужаса, моего «Я», я бы сам себе объяснить не мог.

Вместе с тем меня каким-то необъяснимым чувством тянуло к Эдику Хаскину, даже тема его лекции просто чудом совпала с моими личными проблемами, к тому же Эдик Хаскин был самым молодым профессором в нашем институте, и многие о нем отзывались как о самом талантливом специалисте в области психиатрии, хотя Бюхнер его называл не иначе как шарлатаном, а как я успел заметить, Бюхнер очень редко ошибался.

– Многофакторная галлюцинация может быть также причиной воздействия на человека различных природных катаклизмов, – Хаскин уже успокоился и как всегда отчаянно жестикулировал в воздухе своими руками. Его пальцы как бы хватали в воздухе истину и разворачивали перед изумленными взорами ее невидимый свет…

Однажды в Турции во время землетрясения под развалинами дома оказался шестилетний мальчик, и когда его на четвертые сутки вытащили из-под развалин дома, то оказалось, что все это время с ним была его мать, которая, как могла, успокаивала и подбадривала его, в то время как мать его нашли сразу же после землетрясения и в тяжелом состоянии (бессознательном) доставили в больницу. Причем она открыла глаза и могла говорить в тот момент, когда вытащили из-под развалин ее сына!

– Обыкновенное совпадение, – недовольно пробормотал Бюхнер, – а ребенок мог просто от страха нафантазировать!

– Нет, Хаскин прав, этого же никто не знает, – прошептал я и вскоре после занятий рассказал Бюхнеру все, что со мной произошло.

---

[4] Трансцендентный – выходящий за пределы чувственного опыта (фил. тер.)

– Думаю, старик, что это все-таки крыша, – вздохнул Бюхнер, – крыша у нас то протекает, то падает, у всех по-разному! – он опять вынул из сумки колбу с Тутанхамоном и ласково погладил таракана у себя на ладони:

– Эх, Тутанхамончик, только мы с тобой нормальные люди!

Я услышал эту фразу и сразу же рассмеялся.

– А что ты смеешься, – обиделся Бюхнер, – возьми да и сходи к своему Хаскину, да расскажи ему все, что ты мне рассказывал, может, он благодаря тебе еще какую-нибудь работу напишет!

– Может, еще вылечит?! – усмехнулся я.

– Как ты знаешь, у нас дураков не лечат, а только калечат! – лукаво подмигнул мне Бюхнер, и мы с ним тепло попрощались возле его гостиницы. Он, как всегда, звал меня поглядеть на своих любимчиков, но я отказался, его тараканы вряд ли могли мне чем-нибудь помочь.

Растения тоже в некоторой степени утратили для меня смысл, теперь этот смысл я искал в самом себе. В последнее время я стал замечать, что тучи на небе тяготят наш разум. Есть, конечно, люди, почти не замечающие этого, но как ни странно, они все равно страдают о тех, кто более чувствителен к окружающему Космосу, еще я давно понял, что в солнечные дни глаза людей чаще сверкают добротой. Они излучают ее, преломляя и собирая духовный свет от солнца, в то время как в ненастье они полны мрачной грусти, тоски и ожидания… Вселенная словно передает нам ожидание своей собственной Смерти…

Этот день был наполнен каким-то таинственным светом, он медленно выползал из-под плывущих над моей головой облаков и как бы говорил мне, что у меня не все еще потеряно… Совет Бюхнера показаться Эдику Хаскину я поначалу воспринял как не очень удачную шутку, но потом, когда мы расстались и я посмотрел на небо как барометр собственного настроения, я почему-то почувствовал, что Бюхнер прав и что в его совете что-то есть. Ведь я все-таки осознавал невероятность всего, происходящего со мной, а следовательно, оставался по-прежнему собой…

– А кто вам сказал, что вы страдаете психическим заболеванием? – усмехнулся Эдик Хаскин, когда выслушал меня.

– Да, но я слушал ваши лекции, и мне показалось…

– О, Господи, лекции, – засмеялся Хаскин, – да я иногда несу на этих лекциях сплошной бред! – засмеялся он, – просто мне так иногда интересней жить, – сказал он, поймав мой недоуменный взгляд, – да, да, не удивляйтесь! И вообще, трансцендентных явлений в современной психиатрии нигде не наблюдается, просто мне надо было защитить докторскую, вот я и выдумал такой термин, чисто философский, даже не выдумал, а употребил, обозначив не что иное как пограничное расстройство личности и кратковременное психиатрическое расстройство, т. к. они менее всего объяснимы и менее всего нуждаются в лечении!

Так что у вас, дорогой мой коллега, не что иное, как кратковременное психическое расстройство, вызванное не чем иным, как гибелью вашей невесты. Вы пережили глубокий стресс, стресс дал толчок кратковременному расстройству, причем похожему на шизофрению, но сейчас у вас нормальное состояние, можно сказать, это временное помешательство пошло вам только на пользу! И под огнем противника у солдат иногда терялся всякий разум, и в концлагерях у наших с вами предков!

– Я даже не знаю, что и сказать, – пробормотал я, ошарашенный признанием профессора.

– А и не надо ничего говорить, давайте лучше полечимся! – весело сказал он и вытащил из встроенного в стену шкафчика бутылку армянского коньяка.

Коньяк сразу же оживил мое восприятие, и без того оживленное цветом кабинета Эдика Хаскина. Дело в том, что Хаскин был уверен, что золотистый желтый цвет концентрирует

внимание и помогает добиться в рассуждениях какой-то опосредованной цели. В его кабинете даже мебель была одного цвета со стенами, сливаясь с ними как бы в одно целое.

Этот цвет действительно вдохновлял меня, как и смешной, слегка повизгивающий смех профессора. Вскоре мы перешли на «ты» и впоследствии стали большими друзьями. В этот же день мы напились до поросячьего визга.

– Эх, Эдик, – обнял я Хаскина, – я так хочу стать профессором.

– Так в чем же дело, будь им!

– Эх, Эдик, если бы все было так легко, – всхлипнул я, опрокидывая в себя седьмую рюмку.

– Да, психиатрия, брат, вещь серьезная, – согласился Хаскин и снова разлил коньяк по рюмкам.

– Не-е, я больше не буду, – поморщился я, – а то все идеи мои расплывутся, да и разум опять куда-нибудь смоется!

– Да, завтра проснешься, и весь твой разум снова будет на месте, – убедил меня Хаскин.

– А как же идеи, что будет с ними?! – закричал я, выпив восьмую рюмку.

– Новые найдешь, – успокоил меня Хаскин. Все остальное я уже помню довольно-таки смутно. Помню, что потом мы с Хаскиным поехали к какой-то его знакомой Еве. Там мы опять что-то пили, а Хаскин рассказывал смешные анекдоты, а Ева громко рассуждала о бессмысленности бытия, пила стаканами водку и тут же дотрагивалась под столом до моего члена, сохраняя при этом кокетливое выражение глаз по отношению к Эдику.

Я бы, возможно, мог подумать, что она просто нимфоманка, если бы не ее невозмутимый вид и кокетливое заигрывание с профессором при отсутствии каких-либо намеков на симпатию ко мне.

– Это, прямо, не женщина, а Дьявол, – подумал я, – да и какой там к черту Дьявол, даже нет сравнений!

От нервного и одновременно от полового перевозбуждения я громко засмеялся, пытаясь оторвать руку Евы от моего члена.

– Что это на тебя нашло?! – спросил меня Эдик.

– Наверное, он что-то вспомнил, – сказала за меня Ева, упрямо державшая руку на пульте моего тела.

– Ха-ха, а я не понял, – засмеялся уже изрядно захмелевший Эдик.

Он быстро взял Еву за руку и увлек ее за собой на диван. Я в этот момент старался не глядеть на них, но глаза сами собой наливались кровью и упрямо глядели.

Эдик усадил ее на диван и наклонился, чтобы поцеловать ее в губы, но Ева сдвинула колени, и он разбил свои очки, потом он принес ей со стола еще стакан водки, но она засмеялась и вылила все содержимое ему на брюки, Эдик взвыл и подскочил с дивана, как ужаленный, но тут же поскользнулся и разбил себе нос. В общем, выводил из ее квартиры Эдика я, а Эдик шел, сильно прихрамывая и также сильно краснея, без конца повторяя имя Евы.

– Это не женщина, а черт! – сказал он, уже немного приходя в себя.

– Нет, она похлеще черта, – сказал я и рассказал ему о том, как благодаря Еве я почувствовал начало своего конца, пока он рассказывал нам анекдоты.

– Ничего удивительного, – улыбнулся Эдик, – она уже второй год моя пациентка!

Впоследствии я не так часто общался с Эдиком, поскольку его богемные похождения напоминали приключения какого-то сорви-головы, но никак не профессора психиатрии, а ввязываться в его похождения мне мешала моя природная воспитанность, даже, если хотите, стыдливость…

Больше всего меня удручала необузданная страстность Эдика, которая позволяла ему всячески использовать даже своих пациенток. Впрочем, это никак не отражалось на нашей

дружбе, и в личном общении мы как будто всегда понимали друг друга, а самое главное, не пытались друг друга за что-либо осудить.

Однажды он мне принес свои стихи, которые начинались так:

Пусть возбужденная рука коснется члена
Или бумага острого пера,
Я буду знать, насколько многоценна
Моей больной репродуктивная игра…

– Эдик, ты сукин сын! – сказал я, – я уже боюсь тебе что-либо рассказывать, иначе ты мое откровение обязательно выразишь в какой-нибудь неприличной форме!

– Не бойся! – улыбнулся Эдик, – эти стихи слышал только ты и она! Кстати, ты не желаешь ее снова навестить?!

– Нет, не желаю! И знать ее не хочу!

– Ну, ладно, что ты, мало ли каких болезней не бывает на свете!

Эдик сочувственно улыбнулся и опять вытащил из своего портфеля бутылку армянского коньяка. Мы опять напились, но не так сильно.

– Слушай, Эдик, – сказал я, – помоги мне, я уже заканчиваю институт. Врачом я точно никогда не стану! Но все же быть верным своему медицинскому призванию хочу!

– И что же ты хочешь? – удивился Эдик.

– И сам не знаю, – вдохнул я, – самое главное, быть, вроде, как медиком, но никого не лечить!

– Ага, – улыбнулся Эдик, – теперь я понял, кем ты можешь быть!

– И кем же?!

– Патолого-анатомом! Чужие трупики вскрывать, – захихикал Эдик.

Он засмеялся, но его смех нисколько не обидел меня, а даже, наоборот, воодушевил.

– А что?! Это совсем даже неплохо, – улыбнулся я, и теперь Эдик, уже нисколько не смеясь, вполне серьезно пожал мне руку.

– Я сделаю все, чтобы ты остался в этом городе, – сказал он, и я почувствовал вполне адекватную уверенность в его словах.

– У меня их главный – мой знакомый, – пояснил Эдик, – его хлебом не корми, только вези молодых покойниц?!

– Что на самом деле что ли?! – удивился я.

– А то, – хмыкнул в кулак Эдик, – патолого-анатом – некрофил!

– Твой пациент что ли?!

– Да, нет, просто знаю, только ты сам держи язык за зубами, а я тебя к нему уж всегда устрою!

– Да уж, – вдохнул я, предчувствуя, что скоро в моей судьбе произойдет что-то экстраординарное, не вписывающееся в обыденный ход монотонного времени.

# 8. Воспоминания о Гере

Жизнь шла своим чередом, а мои самые дорогие и светлые воспоминания о Гере превращались в далекую и едва видимую сказку. Мои чувства и переживания совершенно незаметно для меня самого окрашивались в другие тона, другие люди захватывали и поглощали все мое сознание, как будто бы вся жизнь превращалась в телескопический экран входящих и выходящих из него не людей, а только приведений. Я никогда не был мистиком, но однажды мне приснился очень странный сон, будто я, Гера, ее и мои родители идем по большому бескрайнему полю и проходим мимо Бюхнера, который подбирает с земли своих огромных, пузатых тараканов и запихивает их по колбам.

Видим Эдика Хаскина, который подходит то к одной, то к другой своей пациентке и с каждой из них ложится на траву, и одновременно пьет с ними коньяк и с безумным удовольствием пихает в них своего ревуна, а в это время наши смущенные родители остаются где-то позади нас, а мы, держась за руки, неожиданно поднимаемся с Герой в воздух и летим.

Потом мы неожиданно опускаемся с ней посреди незнакомого города и бродим по его безлюдным улицам. Отсутствие людей завораживает, как и чистое, совершенно безоблачное небо, которое мы только что покинули.

Гера все время смеется и при этом еще улыбается своими влюбленными глазами. От порыва чувств я разбиваю витрину цветочного магазина и набираю для нее охапку свежесрезанных роз. За это она целует меня и срывает с себя платье посреди улицы под крики удивленной и неизвестно откуда-то взявшейся толпы. Я тоже срываю с себя одежду, и мы мгновенно сближаемся на глазах у всех.

Взволнованные сирены милицейских машин плотным кольцом сжимают вокруг нас тесно стоящую толпу изумленных людей. А мы, как в сказке, поднимаемся вверх, продолжая оставаться слитыми в одно единственное тело, в котором как в бесценном сосуде пульсирует наша драгоценная жизнь. Мы настолько легки в своем парении, что нас кружит своим дуновением ветер под несмолкаемый свист и крики толпящихся милиционеров и просто зевак.

Еще мгновение – и мы опускаемся на крышу ближайшего дома, а потом быстро перелетаем с одной крыши на другую, пока наконец не достигаем городского парка, куда падаем вдвоем прямо в фонтан, обрызгивая скучных прохожих, и опять собираем вокруг себя удивленную толпу, они быстро теряются в ней, как уже ненужные и брошенные кем-то вещи на общей городской свалке, они почему-то напоминают о свальном и древнем грехе…

Однако Гере и этого мало, она приподнимает меня за одну руку, и мы взлетаем из фонтана по его высоким и мощным струям в небо, откуда смеемся, кружась над толпой. Звучит «Ария» Баха, и мы под эту мелодию танцуем в воздухе с закрытыми глазами, и неожиданно мы опускаемся и стремительно пролетаем сквозь людей, которых даже не задеваем, и они даже не видят этого, потому что мы пролетаем сквозь них одним своим осязанием.

Правда, потом уже с чувством запоздалого восторга они замечают это, и на их лицах возникают благодушные улыбки и проблески умиления, вслед за которыми уже темнеющий космос, прорываясь сквозь наше чистое и безоблачное небо, начинает охватывать нас всех своими необъяснимыми порывами ветра и поднимать еще дальше вверх, на немыслимую высоту, в которой уже собрались все точки звездных меридианов.

Потом мы с Герой пролетаем в облака, иногда проваливаясь в них, как в туманные небесные постели, которые для нас уже расстелила возникающая повсюду ночь, и там в небесах мы совокупляемся с ней, как мухи, превращая свою фантазию в дыру бесконечных наслаждений, из-за которых, может быть, мы исчезаем отсюда навсегда…

Я просыпаюсь от внезапной тишины, недавно подобранный мною на улице кот уже спит и чуть слышно дышит. За долгие годы бесполезного существования он, как и я, испытал

почти все и, может, поэтому так часто и подолгу спит, как будто отсыпаясь за всю свою легендарную эпопею со многими кошками. На стене висит чуть покрытый едва видимой пылью портрет Геры, на котором уже поникли давно увянувшие хризантемы.

Я все еще как будто продолжаю охотиться здесь за ее призраком, но он, увы, всегда незаметно улетает от меня, как недавний мой сон долгожданного праздника… Кто-то звонит мне по телефону, но я знаю, что это не она, потому что ее уже нигде нет… Кот уснул, и мне тяжело думать о том, чего как будто бы и не было, и еще мне почему-то уже тяжело доверять самому себе хотя бы потому, что мне кажется, что нашу жизнь кто-то выдумал и теперь не знает, что с ней делать, может, поэтому и я не знаю, что мне делать с собой…

Еще мне приснился сон, будто я и Гера шли по темной вечерней улице, взявшись за руки, а над нами лил дождь и гремел гром, молнии вспыхивали, как ужасающие видения Апокалипсиса, но мы с Герой шли, не боясь ничего, и людей вокруг никого не было, были только одни ее глаза, глаза грустного и одинокого зверя, которые мысленно сливались со мной, со всем моим телом.

Она просила меня не делать этого, но я, разгоряченный ее безумным взглядом, неумолимо вел ее в кусты, за забор, в бурьян, к реке, и там в кустах ее долго насиловал как жалкую шлюшку, а она стонала и плакала одновременно, она была вся во мне…

Эта жгучая смесь страха, отчаянья, похоти и любви делали ее дрожащей пушинкой на моей вытянутой, протянутой в Вечность ладони… Она ненавидела и любила меня с умопомрачительной яростью…

Это живое молодое и горячее безрассудное тело, казалось, спешило переполниться моим семенем в своем оживающем прахе… А потом я стоял возле ее могилы и плакал, целуя портрет…

Эта жалость, возникающая из ниоткуда глубоко в сердце и к себе, и к ней, к этому страстному и пронзительному подобию себя – зверю в клетке, изнывающему на огненных стрелах своего безумия и даже самого невероятного смертного вожделения, ворожила мной в тумане давно исчезнувших совокуплений…

Этого не могло быть, но было, потому что абсурд бессмысленной моей жизни вытолкнул из моих сновидений то же самое ревущее и слепое желание… Она вышла из могилы и поцеловала меня… А руки у нее были такими странными и теплыми…

И еще она почему-то боялась глядеть на меня, как будто боялась увидеть во мне, как в зеркале, свое мертвое отражение и расплакаться от обиды, смешанной с удивительной тоской и любовью к этому несчастному и грустному зверю, то есть ко мне, еще ее же живому подобью… Солнце скрылось…

Осталась только луна, а ночная прохлада ночного кладбища медленно окутывала наши дымящиеся тела… Я хотел уйти и не мог… Она пыталась заговорить, но молчала…

Печальная одинокость развеяла все мысли, словно прах…

Только уже потом, очнувшись ночью на ее могиле, я вдруг понял, что я всю жизнь ошибался в себе и что эта моя ошибка была заранее предопределена самим земным существованием… Её портрет на памятнике улыбался мне из-за решетки ограды, очень странно улыбался, как будто она все знала и заранее прощала все мои будущие неотвратимые грехи… из-за чего наше молчаливое и страстное соединение во взглядах превращалось в живую взаимность, оживляла ее из-под этого камня и тысячи раз одними усилиями памяти и воли возвращало ее на то же самое место, где еще вчера мы совокуплялись на берегу реки…

Несколько лет существования без нее как будто оглушили меня… Мы стояли и сейчас вместе живые… одинаково теплые и нежные друг к другу, соединенные жалостными взглядами пойманные зверьки…

И в этом продуманном до мельчайших подробностей мираже мы заплакали от любви к себе и от ненависти к смерти, ибо мы себя не видели еще так никогда, еще никогда так

не были любимы и желанны друг другу, как сейчас, когда ее уже не стало, и только тень одна под месяц ходит по могилам и молча улыбается сквозь слезы, как будто душу в высь мою отчаянно к себе берет…

Прошел год, другой после ее гибели, а я ходил по друзьям, жаловался на судьбу и очень быстро напивался. Равнодушные глаза случайных собутыльников со смутой в душе созерцали мои пьяные рыдания и рассматривали меня как мимолетную тень собственного сумасшествия…

– Я не могу представить себе, что ее больше нет, – говорил я Ираклию, «вечному студенту», уже как будто навек прижившемуся в общежитии мединститута.

– А ты не думай, – советовал Ираклий, вытирая мне слезы своим маленьким детским платочком и снова чокаясь со мной разбавленным спиртом, который студенты приносили с практики.

– Если бы я был с ними в машине, то, возможно, я бы тоже был с ней на том свете, – грустно вздыхал я.

– Ах, ты, мой страстный и давно испорченный мальчик, – в тон мне плаксиво вздыхал Ираклий, пытаясь обнять меня своими пьяными руками, но я отталкивал его от себя, и он падал под стол, а потом выползал оттуда на четвереньках, изображая громко лающую собаку… Иногда к нам присоединялись соседи Ираклия, два скучных узбека, постоянно курящие анашу и поющие, аккомпанируя себе на домбре тоскливые песни.

Гера ушла… Ее тень побыла со мной немного рядом, молча, без прикосновений… Иногда я засиживался в общежитии до утра и видел, как узбеки приводили в комнату из больницы медсестру, и она по очереди им делала за деньги минет, а мы с Ираклием, стыдливо отвернувшись, опять звенели стаканами и расширяли сосуды спиртообразной жидкостью, вмещающей в себя все то же забытье…

Гера, мои воспоминания становятся о тебе все тусклее, а мои сновидения тише… Иногда я даже не знаю, для чего существую, и почему ты иногда все еще трепещешь во мне и шевелишься своим молодым и красивым телом, которого мне при солнечном свете уже не увидеть и не прижаться даже маленьким мизинчиком, даже крошечной слезой не омыть мне тебя, моя птичка… Все реже ночами я посещал кладбище и вслушивался в его гробовое молчание…

Люди лежали рядами, но Гера не могла так лежать, она всегда, когда хотела, возникала во мне, только я уже стал уставать от ее внезапных появлений… Я был животным и я хотел тепла… Неожиданно ночью я увидел на кладбище женщину. Она шла очень быстро, а потом тоже, как и я, остановилась перед одной могилой и заплакала, а я подошел сзади и коснулся ее плеча.

Она повернулась ко мне и, всхлипывая, обняла меня… Это была Гера, она пришла навестить отца… Только откуда она могла взяться в такую ночь… О, Гера, ты еще живая… Мы опустились с ней в траву, и я ее раздел у ее же могилы… Она лежала подо мной, как раненая птичка, и вся трепетала. Казалось, что мир вокруг нас весь вымер и мы на кладбище вдвоем одни…

Лишь проникая в нее, я почувствовал, что это была старшая сестра Геры.

– Ах, Господи, ведь это ты?!

– Ты сразу не узнал меня, – усмехнулась она сквозь слезы, – а я вот с мужем поругалась и пришла навестить Геру с отцом!

– Выходит, что ему ты отомстила?!

– Выходит, так, – неожиданно она засмеялась, и этот звонкий смех опять напомнил голос – ноту Геры, и я ее опять обнял.

– Люби меня, – прошептала она, – люби меня еще и еще, и пусть эта ночь никогда не кончается! – и я любил ее, любил до дрожи в коленях, до плача в глазах, и ее молодое

горячее живое безрассудное тело спешило переполниться моим семенем, чтобы после всего вернуться опять к несчастному мужу…

– Это грех, – прошептал я потом и закурил, осветив улыбающееся лицо Милы.

– Мне это было нужно, – прошептала она, – мне могильщик сказал, что ты приходишь сюда каждую ночь! И мне захотелось, и вот я пришла!

– Да, странно, – вдохнул я, приобняв ее за плечи. Она тоже закурила, и так мы то разговаривали о наших близких умерших покойных, то снова как во сне овладевали друг другом…

– А ты знаешь, Гера очень любила тебя, – сказала тихо Мила, расставаясь со мной рано утром у ворот кладбища.

– Что ты скажешь мужу?!

– Это неважно, – она поцеловала меня на прощанье и радостно зацокала по мостовой своими острыми каблучками, а я, не отрываясь, глядел на ее удаляющуюся тень и думал о ней почти как о Гере.

Потом она еще несколько раз приходила ко мне на кладбище, пока однажды просто не исчезла из моей жизни, развеявшись, как сон, да и холодно уже было ночами. Я тоже перестал приходить к Гере, к ее могиле, я просто понял, что жизнь идет еще дальше и что мне ее надо принимать такой, какая она есть, если я не захочу, конечно, сойти с ума или покончить жизнь самоубийством.

Может, поэтому я почти всегда перед сном прошу прощения у нее перед этим пожелтевшим портретом с давно увянувшим букетиком хризантем, которые она принесла незадолго до нашей свадьбы, которая так и не состоялась никогда.

А жизнь бурлила, Ираклий все время пьянствовал, Эдик обучал студентов психиатрии, а своих пациенток совершенному и качественному сексу, Бюхнер все так же разводил тараканов, а моя учеба в институте уже подходит к своему невидимому концу, чтобы изменить свое название и переместиться в лоно зрелости благой…

# 9. Патологоанатом – некрофил или осквернитель праха Геры

Эдик Хаскин сдержал свое слово, и уже осенью, после окончания института я стал работать патолого-анатомом у Штунцера.

Патолого-анатомический корпус располагался на территории больницы, неподалеку от старого городского кладбища. Такое соседство вызывало весьма философское расположение духа. Здесь же в корпусе располагался и Центр судебно-медицинской экспертизы, который также возглавлял Штунцер. Маленький, слегка лысоватый, в очках и заостренным птичьим носом, Штунцер мне чем-то напомнил Бюхнера, но в отличие от последнего он был очень немногословен. Весь облик его говорил о какой-то ущербности, которую, похоже, он и сам осознавал, но пытался скрыть, из-за чего пребывал в постоянном волнении.

Как и говорил Эдик, Штунцер был некрофилом.

Это проявлялось во многом его поступками и поведением, а также заведенным им в корпусе порядком. Так, он любил вскрывать трупы исключительно молодых и красивых женщин, кроме этого, у него для этого был свой личный анатомический зал, куда он как в святая святых не допускал никого и даже выполнял работу медсестры, которая должна была ему ассистировать. Кроме меня и Штунцера, в корпусе работал также Ильин, старый медик, уже давно пребывавший на пенсии. Не знаю почему, но Штунцер сразу же почувствовал ко мне глубокую симпатию и позволил мне в его отсутствие находиться в его кабинете, поскольку своего кабинета у меня не было. К сожалению, я не смог устоять от множества гадостей, при этом я имею виду совершенно невинные гадости, которые все равно вызывают во мне какой-то потусторонний страх. Через полгода своей работы у Штунцера я уже боялся определенного множества вещей.

Ну, например, я боялся, что близкие и родные одного из моих покойников случайно разожмут его челюсти и увидят, что у него вроде как не хватает трех золотых коронок, которые я уже переплавил себе на перстень, или я еще очень боюсь, что Штунцер когда-нибудь убьет меня хотя бы потому, что я знаю, что он вступает в половой акт с молодыми и красивыми покойницами, которые еще не успели закоченеть.

Правда, этот страх бывает редким, и чаще всего я ни о чем таком серьезном не думаю и ловлю рыбу на окне из аквариума Штунцера.

Как я уже говорил, у меня не было своего кабинета, и Штунцер всегда позволял находиться у него в кабинете. Похоже, никто не знал, что нижний ящик его стола набит цветными фотографиями тех самых покойниц, которые имели честь обладать его неуклюжим телом. И все же мне иногда казалось, что я слишком много на себя беру, пытаясь судить Штунцера, который уже только из-за своей внешности и низенького роста вряд ли мог бы понравиться, и тем более – симпатичной женщине. Не отсюда ли и росли ноги у его извращенных фантазий.

Иной раз, когда на меня нападала необъяснимая тоска, я заходил в его кабинет, садился за стол и доставал и разглядывал на этих фотографиях еще не рассеченных скальпелем милых красавиц Штунцера. Правда, более трех-четырех фотографий я разглядеть не мог, ибо я в тот же момент представлял себе, как Штунцер совершает с ними половой акт, как меня тут же подташнивало, и я засовывал назад эти фотографии и опрометью убегал из кабинета…

Но однажды произошел случай, который просто лишил меня сознания. Это было после обеда, когда Штунцер выехал куда-то срочно по делам, и я, как всегда, зашел в его кабинет и вытащил эти самые злополучные фотографии, и на одной из них увидел обезображен-

ный труп Геры с продырявленной головой… Ее лицо все же сохранило в себе ту таинственную красоту, которая когда-то пленяла меня, но ее раздвинутые ноги и вся поза говорили о том, что Штунцер ее сразу же сфотографировал, как только что осквернил, он, несчастный, маленький, ушастый и ничтожный дотронулся до праха моей любимой Геры… Этот маленький неказистый гаденыш пихал в нее свой крошечный член и стонал от удовольствия…

Нет, я никак не мог в это поверить… И в эту же минуту в кабинет вошел Штунцер, сразу же одарив меня своей нервной улыбкой. Я успел спрятать фотографию Геры, а остальные положил назад, в нижний ящик.

– А вот рыться в чужом столе нехорошо, – нахмурился Штунцер.

– Да уж, – моя дрожащая речь могла подвести меня, и поэтому я больше не произносил слов, а просто молча улыбался и стоял перед ним навытяжку, как вкопанный истукан, хотя на душе у меня уже скребли кошки, а пальцы сами собой складывались в кулак.

– Ты, видно, устал, – усмехнулся Штунцер, – так что я тебя на сегодня отпускаю!

Я только молча кивнул головой и вышел.

Рядом из труповозки менты выносили тело очередной красавицы, которую из своего окна жадно разглядывал Штунцер. Я быстро прошел мимо них. Ноги сами меня несли на кладбище, к могиле моей дорогой Геры. Вот и ее памятник, я открываю калитку, сажусь на лавочку возле нее и достаю из кармана ее фотографию, и смотрю на нее, и плачу…

Она действительна красива даже мертвая, смерть словно обвела ее своей волшебной кисточкой, и еще когда знаешь, что ничего этого уже нет, что все это лежит здесь в забвении и прахе, испытываешь необъяснимое желание дотронуться до нее, как до спящей принцессы, и, может быть, оживить ее своим грустным поцелуем…

О, Господи, она в тысячу раз нежней и обворожительней, потому что мертва!

Я вслушиваюсь в шепот ветра у ее могилы, и мне кажется, что я слышу ее голос, и этот голос говорит мне, что я должен отомстить за нее, за ее осквернённый прах ради нашей кромешной любви…

– А, может, его простить?! – спрашиваю я.

– Да что ты, разве подонков прощают, – шепчет она, и я плачу, и падаю на ее холмик, и прижимаюсь к нему всем телом.

Потом наступает ночь. Я все еще продолжаю лежать, вглядываясь в темноту… Эта темнота предназначена не только для меня, но и для тех, чья похоть выливает остатки разума за те таинственные пределы, где для всех без исключения Любовь, как и сама Жизнь, уже окончательно исчезает.

И здесь же на кладбище я и задался вопросом: а не безумен ли я сам?! И почему в моей душе Гера все еще остается, хотя ее уже не существует, и почему я могу разговаривать с ней, когда ее нет, и что такое смерть?… Мне видится, что она только связующее звено между нами, только мгновение, и мы с Герой опять будем вместе даже там, ведь не может быть, чтобы Бог навеки нарушил нашу связь, и если все, абсолютно все состоит из атомов, то часть моих атомов стала уже ее далеким и нездешним существом хотя бы потому, что она была беременна, она несла в себе плоть и кровь нашего ребенка…

Ночь продолжает смотреть на меня своей разинутой пастью, жизнь грозит мне своим безумным абсурдом, но я улыбаюсь, ибо знаю, что все когда-нибудь растворится и исчезнет, и даже этот гадкий и неказистый Штунцер тоже канет без следа, и поэтому я только лишь пытаюсь ощутить в темноте какую-то тайну, за которой прячется не одна только моя собственная маска, да и маскарад на земле еще не окончен, и всякий желает заглянуть внутрь другому, как будто найдет там, внутри, эту странную истину…

Я даже не помню, как вернулся домой с кладбища. Лишь рано утром я вытащил из кармана фотографии моей мертвой, осквернённой Штунцером Геры и молча сжег над газовой

плитой, обжигая пальцы, но не чувствуя боли, ибо она у меня была в сердце, а сердце еще колотилось, взывая к отмщению…

– Аз воздам! – стучит мое сердце.

– Аз воздам! – течет моя кровь.

Бессонница нарисовала вокруг моих глаз черные круги, страдание в глазах, какой-то безумный блеск, и вот в таком странном состоянии духа я и пришел на работу.

– Даже не знаю, что с вами делать, – взглянул на меня недовольный Штунцер, – ну, ладно. Идите и поработайте хотя бы с этим стариком, – и Штунцер протянул мне документы. Труп старика и я смотрели на Душу с разных сторон – труп снизу, я – сверху. Вообще-то, Душа была невидима, и я ее не видел, потому что все еще был жив, старик, соответственно, видел, потому что был мертв…

Однако умозрительно я мог себе представить и даже немного почувствовать, как Душа приближается к некоему пределу, который высится надо мной как грязный потолок морга… Труп же, хотя и молчал и с виду был совсем пуст, все же не терял связи с улетающей душой и полностью просвечивался в ней, как земля в солнце…

После упорных вглядываний в мертвечину и часто думая о Гере, я уже не мог обойтись без спирта. Мои представления о Душе вступали в невидимый конфликт с окружающим миром, когда я возвращался с работы домой. На автомобиле своих родителей, уехавших в Израиль, я ездить после гибели Геры боялся, к тому же я очень часто вскрывал тела несчастных жертв случайных происшествий, и кроме этого обилие живых человеческих лиц в общественном транспорте в какой-то мере поддерживало мой пошатнувшийся разум после тайного разоблачения Штунцера. Временами мне казалось, что Души в телах пассажиров плескались как хотели…

Будучи переселенцами из других миров, они не ведали себя и творили вокруг себя один хаос, хотя и пытались создать какой-то видимый порядок… Мои раздумия на эту тему страшно огорчили меня, т. к. часто беседуя наедине с мертвецами, я не привык противопоставлять порядок хаосу, как, впрочем, и Жизнь Смерти, а поэтому соединял их в единое целое, отчего любой случай можно было рассматривать как закон… Может, поэтому, когда ко мне рядом на сиденье подсел какой-то усталый поникший старик, я сразу же поглядел ему в глаза, словно пытаясь найти в них то, что одновременно сближало и отталкивало нас…

И первое, что я в них увидел, был страх, точнее, ужас, который было невозможно описать никакими словами, а второе – необъяснимый восторг хотя бы потому, что этот самый старик и был тем самым трупом, который я два часа тому назад вскрывал в анатомическом зале… На мгновение я ойкнул и зажмурил глаза, потом снова их раскрыл, но старик продолжал сидеть, как ни в чем не бывало…

Потом я почувствовал, что моя Душа, как и Душа этого самого старика, готовят друг другу вместилище для последующей эманации… Вагон как будто разлетелся на миллионы воздушных капель-брызг, а старик схватил меня за руку и потащил за собой в крематорий…

Серо-мышиное здание крематория было заполнено минорной музыкой Шопена… Одетые в торжественно-черное служащие пытались всеми силами изобразить на лице ангельское терпение и сочувствие… Однако сквозь унылые маски прорывалось наружу безумное веселье… Женщина в черном платье с белым воротником неожиданно ущипнула меня и громко засмеялась, впрочем, ее смех так был похож на плач, что присутствующие рядом клиенты-родственники покойников совершенно равнодушно прохаживались по огромному вестибюлю крематория, правда, с некоторой опаской прислушиваясь к гулу работающей печи…

Старик одернул свой похоронный костюм и неожиданно подтолкнул меня к смеющейся женщине… Эта женщина тоже совсем недавно была трупом, который я потрошил своими собственными руками… И я готов был поклясться кому угодно, хоть черту! Она

захотела меня обнять, но я оттолкнул ее и бросился бежать по крематорию… Узкие коридоры коварными лабиринтами спускались куда-то вниз, пока я наконец не добежал до ритуального зала, и там в гробу на колесиках, медленно бегущему по рельсам, лежала моя Гера и улыбалась мне одними губами, ибо глаза ее были закрыты, и я бежал за ней, пытаясь остановить ее гроб, не дать ему пронестись в огнедышащую пасть черного дракона, этой чертовой печки крематория, где с большим гулом тела превращались в пепел, но гроб все же проскользнул, и мои руки не смогли его никак остановить…

Старик подошел ко мне и погладил меня по волосам.

– Бедный юноша, ваша любовь уже сгорела, – прошептал он.

Очнулся же я от прикосновения к моим плечам водителя автобуса.

Кругом опять наплывала своей темнотой ночь. В эту минуту я почувствовал себя ужасно несчастным человеком, таким несчастным и одиноким, что сразу же, купив бутылку водки, отправился к Эдику Хаскину.

Эдика Хаскина я застал за весьма странным занятием. Он стриг волосы на голове у Евы, причем стриг без всякой системы, как ему того хотелось.

– Ну и как тебе моя работа?! – улыбнулся он, состригая очередной клок волос с головы Евы, которая сидела в застывшей позе, как мумия фараона.

– Даже и не знаю, что сказать, – улыбнулся я вымученной улыбкой.

– Это у нас называется «а-ля космическая лапа», – хихикнул Эдик, отхватывая новый клок волос.

– Извини, Эдик, но мне не до шуток, и очень хотелось серьезно с тобой поговорить!

– Ну, что ж, – вздохнул Эдик, разводя руками, – сходи, лапка, в соседнюю комнату и поспи на диване, – хлопнул он Еву ладонью по задней окружности.

– Опять спать, – капризно скривила губы Ева, – да сколько можно спать-то?! Ну, ладно, раз так надо! – она мне призывно улыбнулась и ушла в соседнюю комнату.

– Пойдем лучше на кухню, – предложил Эдик, ощущая в моем лице что-то недоброе.

На кухне он тут же вытащил из заветного места армянский коньяк и разлил по маленьким серебряным рюмкам, быстро нарезав лимон тонкими дольками. Я все это время молча наблюдал за его процедурой подготовки разговора по душам. Что мне нравилось в нем, так это отсутствие какой-либо заносчивости и особое умение понимать человека с полуслова, и еще – быть готовым помочь в любую минуту. Правда, его портило только одно – это просто безумная страсть к женщинам, а в особенности к своим пациенткам, которых он лечил и удовлетворял самыми разнообразными способами.

Наконец мы молча выпили, и Эдик уставился на меня своим улыбчивым и в то же время осторожным и хитрым прищуром профессорских глаз.

– Эдик, откуда ты узнал, что Штунцер некрофил?!

– А разве я тебе это говорил?! – удивился Эдик.

– Ну, ты, наверное, помнишь, полгода назад, когда ты пообещал мне найти работу, и ты сказал тогда…

– О, Господи, – засмеялся Эдик, хлопнув себя рукой по лбу, – да, я просто пошутил. Неужели ты не понял?!

Изумление на его лице действительно было естественным и непринужденным.

– Нет, но я действительно пошутил, – теперь Эдик престал улыбаться, и его лицо приняло задумчивый вид.

– А что, на самом деле что ли?! – с тревогой спросил он меня.

– Да, – выдохнул я.

– И ты видел?!

– Нет, не видел, но зато видел цветные фотографии в его столе.

– Гм, фотографии, – усмехнулся Эдик, – да ведь эти фотографии, да, а что они изображают?!

– Покойниц, красивых молодых покойниц до момента вскрытия!

– Ну и что?! Такие фотографии делают и для судебной экспертизы!

– Но на этих фотографиях не раздвигают ноги покойницам и не снимают в увеличенном виде их…

– Слушай, не надо, – взмолился Эдик, – а то меня сейчас стошнит, – и он тут же вскочил с гримасой отвращения и убежал в ванную.

– А у тебя есть эти фотографии?! – спросил меня Эдик, обратно усаживаясь за стол.

– К сожалению, нет, – вздохнул я, – была одна, моей Геры, но я ее сжег.

– Так он и твою Геру тоже, – нахмурился Эдик. – Н-да!

– Я когда его вижу, мне очень хочется его задушить, – я немного всхлипнул, Эдик положил мне свою руку на плечо.

– Ничего, брат, ты уж держись, а мы этого Штунцера засадим ко мне в лечебницу! Надо только немного постараться! К тому же я, брат, сейчас по некрофилии работу пишу! Так что мне такие пациенты до зарезу нужны!

– И тебя даже не смущает, что он твой коллега и вроде как неплохой знакомый?! – удивился я.

– А что мне, плакать что ли?! – немного смутился моего удивленного взгляда Эдик, – в конце концов все мы в какой-то степени подопытные кролики!

– Знаешь, Эдик, я бы хотел узнать твое мнение о Штунцере уже не как мнение коллеги и знакомого, а как мнение специалиста!

– Н-да, – вздохнул Эдик, сжимая пальцы рук и создавая ими округлую сферу, – вообще, как ни странно, несмотря на всю чудовищность такого полового удовлетворения, доказать патологическую основу личности почти не удается, хотя еще в прошлом веке многие психиатры обосновывали наследственностью, даже как второстепенные причины указывались алкоголизм и слабоумие, но наука шла вперед, человечество тоже претерпевало различную эволюцию, и даже, можно сказать, деформацию собственного же развития, и, как ни странно, в наше время появились очень высокоразвитые интеллектуальные некрофилы, которым свойственно особое болезненное извращение чувственности, основанное на парадоксальном мышлении личности.

Некрофилы обладают способом «оживления трупов», то есть они их оживляют мысленно и чувственно. Кроме того, некрофилия как болезнь содержит бессознательную тенденцию собственного же умерщвления, для такого интеллектуального некрофила, как Штунцер, это своего рода проникновение в тайну, ибо его мертвецы, то есть покойницы, внушают ему не грусть и не тоску с ипохондрией, а самое возвышенное благоговение перед самим фактом их исчезновения, поэтому он и пытается проникнуть в них как в вечную тайну, и от живых они стараются держаться подальше.

– Да, Штунцер очень немногословен, – задумался я, – и зал у него свой анатомический, куда он никого не впускает, и что он там проделывает со своими покойницами, одному только Богу известно! И вообще тайна Штунцера, на мой взгляд, это не просто какое-то отклонение от нормы или обыкновенное извращение, нет, это тайна, лежащая в основе существования любой сволочи, которая пытается протащить через себя весь мир, как нитку через игольное ушко.

– Интересное высказывание, – усмехнулся Эдик.

– И еще я думаю, что Штунцер не просто сумасшедший, что он еще одинокий и несчастный человек, которому легче объясниться в любви с мертвецами, нежели чем с живыми людьми. И потом, я уверен, что Штунцер действительно боится людей, он избегает рукопожатий, прямых соединяющихся взглядов, и он заранее уже чувствует какой-то

подвох в отношениях с ними, и потом, мне кажется, что он больше всего боится, что кто-нибудь может посмеяться над ним и как-нибудь опозорить!

– Однако, он не так прост, и поймать его с поличным будет очень нелегко, – сложил пальцы замком Эдик, – и потом не забывай, что Штунцер благодаря многолетней практике и занимаемой должности приобрел не только авторитет, но и многочисленные связи! А потом в нашей среде существует такое понятие как «корпоративная солидарность», к тому же многие наши коллеги не захотят подымать шума и очернять пусть и свихнувшегося, но все-таки медика! В общем, одними фотографиями тут не отделаешься, тут как минимум необходима видеозапись!

– Да, это просто никак невозможно, – задумался я.

– Ничего невозможного нет, – хмыкнул в кулак Эдик и снова подлил нам в рюмки коньяка, – просто нужен определенный подход!

– К чему?!

– Ни к чему, а к кому! У вас ведь есть обслуживающий персонал, сторожа, уборщицы, санитарки. Вот к ним и надо подобрать свой определенный подход! А видеокамеру я тебе дам. У меня есть очень миниатюрный экземпляр, один коллега из Японии привез! – Эдик выпил со мною коньяк и вышел на несколько минут из кухни. Вскоре он принес видеокамеру размером со спичечный коробок.

– Шпионская штучка, – усмехнулся он, поймав мой удивленный взгляд, – такую штуку даже за решеткой дымохода можно пристроить!

– А это идея! – обрадовался я, – хотя ее осуществление…

– Потребует кое-каких затрат, – добавил за меня Эдик и тут же вложил мне в руку увесистую пачку сотенных долларов.

– А это зачем?!

– Ну, не задаром же тебе будут помогать твои сослуживцы!

– А зачем это нужно тебе?!

– Мне?! Ну, тебе сказал, что я пишу работу по некрофилии и для меня это действительно нужно. Такой высокоразвитый, интеллектуальный пациент как Штунцер для меня на вес золота! Видишь ли, такие, как он, почти не попадаются ни на чем и никогда! Потому что в отличие от других пациентов из низко социальных слоев они обладают и разумом, и высокой степенью интуиции!

– Между прочим, он меня уже застал, когда я рылся у него в столе!

– А вот это, конечно, плохо, но не совсем, – улыбнулся Эдик, – это лишь говорит о том, что нам надо ускорить процесс его разоблачения! А если у нас все получится, то ты займешь его должность!

– Выходит, я это буду делать из карьеристских побуждений?! – я с грустной иронией поглядел на Эдика.

– Да, ладно, чего ты, – смущенно покачал головой Эдик, – просто любое благо меняется опять на благо!

# 10. Исповедь патологического анатома, или Фантом оживающей в спящих красавицах Эльзы

Еще ребенком я испытал чувство отверженности своими родными. Моя мать была целиком охвачена научными поисками каких-то древних цивилизаций, мой отец был с детства помешан на коллекционировании старинных икон и живописи, сестра со школьной скамьи слилась с виолончелью и, по-видимому, виолончель ей заменила собой и мать, и отца, и будущего сексуального партнера, которого, кстати, у нее так и не появилось.

И все же мое детство нельзя было назвать несчастливым в плане его жизненной обеспеченности, мать все-таки откопала кости какого-то древнего царя и впоследствии добилась своей первоначальной цели, стала профессором археологии, отец удачно продавал и скупал живописные полотна и дощечки наших предков и благодаря им так обогатился, что мы смогли переехать жить за город, где в одной из деревенек он возвел для нас что-то вроде небольшого замка в миниатюре.

Сестра моя добилась таких блестящих результатов в музыке, что ее исполнение некоторых произведений уже записывали и тиражировали ведущие фирмы звукозаписи, а некоторые из ее концертов даже транслировали по телевидению. Я же был по-своему обречен. Я не знал, куда девать себя, за что бы я ни брался, будь то коллекционирование марок или спичечных, или парфюмерных этикеток, я почти сразу бросал, и все в моем поведении говорило о жутчайшей пассивности и об отсутствии силы воли.

Моя мать, женщина весьма жестокая и хладнокровная в своих суждениях, объявила мне, что из меня ничего в жизни не выйдет. Ее слова для меня прозвучали приговором. Даже отец с сестрой выразили ей свое молчаливое согласие. С этого времени я чрезмерно увлекся мастурбацией. У одного моего знакомого дед работал сторожем в сельском морге, и очень часто пользуясь его расположением, мы с моим знакомым проникали в морг, когда там лежали симпатичные молодые женщины, и подолгу, с любопытством разглядывали их обнаженные тела, а потом я сразу с ним быстро прощался и уединялся в каком-нибудь лесочке и занимался своим любимым делом, вспоминая очередную покойницу.

Из-за своего роста и вообще всей внешности я не пользовался успехом у своих сверстниц, и поэтому не знаю как, а постепенно стал сосредотачивать все свое внимание на покойницах. В Евангелии от Фомы, которое не стало каноническим, а сделалось соответственно апокрифическим, есть такая безумно интересная фраза: «Вы также ищите себе место в покое, дабы вы не стали трупом и вас не съели…» Во многих языках покой отождествлялся со смертью.

Таким образом, эти слова можно прочитать так: человек ищет свое место в смерти, дабы не быть съеденным…

Иными словами, земной ужас бывает страшнее для человека чем его же собственная смерть, ибо в ней он видит выход в иное общежитие… Подобное осознание-ощущение я испытал, когда умерла Эльза, моя ровесница, нам обоим было тогда по 16 лет.

Самое главное, что я был в нее безнадежно влюблен и всячески пытался доказать ей свои чувства. Однажды в 13 лет, видя, как я страдаю от своих чувств к ней, и когда мы были одни в классе, она в доказательство моей любви потребовала, чтобы я выбросился с третьего этажа школы.

Я внимательно выслушал ее, а потом выбросился и два месяца пролежал в больнице с переломом обеих ног, при этом она ни разу не навестила меня, а когда я вернулся в школу, окрестила меня «круглым идиотом» и всячески игнорировала меня или обзывала. Однако я продолжал сохранять к ней самые сильные чувства. И вот как-то раз случайно, возвращаясь

с подругой поздно вечером с дискотеки, она была сбита какой-то автомашиной, причем в это время она с подругой стояла и голосовала на обочине.

Подруга успела отскочить, а Эльза оказалась прямо под колесами «Жигулей» пьяного водителя. Благодаря деду своего знакомого я приходил в морг и разглядывал обнаженное тело Эльзы. Она была безупречно красива, только лицо было сильно повреждено и разбито. Я несколько раз приходил и любовался на нее, а потом дал деду на водку, и он ушел, а я лег на Эльзу и впервые в своей жизни совершил с ней половой акт, впрочем, это был не акт, это была сказка, вхождение в смерть, в ее блаженные и тайные миры… Я чувствовал, что она живая, что она оживает благодаря моему разуму и чувству…

Потом дед вернулся, увидел меня на Эльзе и обматерил, и даже стащил с нее и дал мне кулаком в морду, и отпустил.

Домой я вернулся поздно, а мои родители все время допытывались, откуда у меня такой здоровый синяк под глазом, но я только молчал и настороженно вглядывался в них.

Понятно, что распросы родителей обостряли чувство моей вины, хотя эта вина уже была для меня чистым вымыслом. Мое соединение с Эльзой было волшебством, а поэтому не могло вписываться в рамки обыденных моральных устоев. Впоследствии у меня благодаря этому же подкупленному мной деду было много спящих красавиц, но всех я их мысленно называл моей дорогой Эльзой, просто я зажмуривал глаза во время совокупления и мысленно воссоздавал образ моей драгоценной Эльзы.

Говоря строго научным языком, в возрасте 16 лет мое либидо зафиксировалось на зрительном восприятии уже мертвой, а потому доступной и покорной мне во всем Эльзы, а эта фиксация выросла из моих переживаний из-за живой Эльзы, поэтому хода назад моим чувствам и желаниям не было, что впоследствии и побудило меня стать врачом, то есть патолого-анатомом.

Прочитав большое количество книг по психиатрии, психологии, медицине, я испытал определенный шок, я осознал, что я больной, но ничего не мог с собой поделать, а признаваться в этом кому бы то ни было означало для меня подписать себе окончательный приговор, диагноз с закупориванием в клетку на веки вечные, как будто в письмена…

Естественно, что страх своего же сумасшествия символизирует собой не что иное, как бессознательный страх совершения чего-либо преступного, аморального, что заранее запрещено в обществе, но когда ты сам испытываешь такой страх и все же совершаешь, причем вполне сознательно, то, чего ты так боишься, это уже в высшей степени индифферентно…

Эти совокупления со спящими объединяют во мне не только страхи и какие-то прочие бессознательные переживания, они еще помимо всего прочего объединяют во мне смысл моего же происхождения и нашего постепенно изменяющегося перевоплощения… Что может быть легче и прозрачнее, и быстрее, чем моя мимолетная связь с Эльзой, с любым ее неподвижным подобием, за которым все время скрывается какая-то тайна, и чем я внимательнее вглядываюсь в ее застывшую маску, тем яснее ощущаю ее призыв оторваться от моей бессмысленной и земной жизни, сорваться туда, где они, эти легкие и плавающие в космосе творения, где вселенные имеют покорную позу бумажной куклы, а звезды тускло мерцающих глаз моей Эльзы.

Я помню, как однажды я сумел подглядеть, как она на конюшне отдалась нашему конюху и как, выгибаясь всем телом, она делала над ним шпагат и долго тряслась в таком противоестественном положении, пока он не заорал, как сумасшедший, и сравнивая ее живую с ней же спящей, то есть с ее прохладным телом, я могу сформулировать для себя одну единственно верную мысль: Я ожил от Эльзы, от ее смерти, от места, где Эльза произошла от самой себя, где Эльза переплавилась в меня и навеки оставила во мне свой Образ…

Я рад, что стал медиком и что могу наслаждаться не только своим одиночеством, но и спящими красавицами, которые помогают мне вновь осмыслить и переплавить образ Эльзы еще раз в себя.

По странному стечению обстоятельство я добился всего, чего хотел, а чтобы правильно осмыслить себя не только в скучных выражениях науки, я обратился к поэзии Данте. Этот поэт стал мне интересен как один из грешников, то есть аморальных типов, который попытался заглянуть в свое будущее, то есть в ад.

По мысли Данте, грешники не знают своего настоящего, зная только о будущем, они как бы застыли в своей муке, выразившей их преступление, и поэтому, по мысли Данте, их связь с Мирозданием оборвана навсегда.

Довольно страшное измышление, говорящее только о том, что сам Данте был противоестественен, недаром его возлюбленная вышла замуж за другого человека, в то время как он всю жизнь мучился, но если бы он смог обладать хотя бы тихо дремлющим телом своей возлюбленной, то он вряд ли бы смог создать такой глупый и бессмысленный ад, с весьма детальным описанием всех его обитателей.

Данте очень жестоко судит всех грешников, присваивая себе божественную личину, забывая, что всякое зло на земле – это вывернутое наизнанку добро, и что друг без друга они не могут жить, как я без своих спящих красавиц, связь с которыми всегда оживляет мою давно уже съеденную червями Эльзу, без которой моя жизнь превращается в муку и в смерть без рождения.

Так вот, в постоянном грехе и происходит вся наша жизнь, и никому, увы, от этого не избавиться, кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то умнее, кто-то добрее, и как-то хорошо все же верить в Бога и благодарить его за то, что ты можешь все, что хочешь, и сделать таким, каким тебе надо, хотя бы и против всякого мнения людей, ибо всяк червь знает свою нору и любит ее, и прячется в ней…

И потом, несмотря ни на какое зло на земле, только в ощущении самого себя человек сможет наконец осознать и почувствовать, что у всего есть свой предел, и у его бытия тоже он есть, остается лишь только один раз сделать шаг, и все будет как будет! Были у меня, конечно, очень большие сомнения в себе и даже какая-то странная боязнь самого себя, иной раз хотелось созвать весь судебно-медицинский консилиум и в их присутствии совокупиться с какой-нибудь уснувшей красавицей, чтобы услышать наконец о себе их идиотское мнение, вот, мол, некрофил-анатом, ему бы трупы вскрывать, а он, сволочь, с ними снашается!

Но, слава Богу, эти приступы постепенно прошли во мне, как и сам страх, и все благодаря какой-то немецкой поэтессе, которую тоже звали Эльзой, только Эльзой Ласкер-Мюллер, и которая в начале XX века написала такие замечательные строки: Пойми! Мы хотим целоваться взасос, Тоска в этот мир стучится – Как бы нам от нее умереть не пришлось!

И что же я увидел, о, Боже праведный, а увидел я то, что она, эта самая поэтесса, обращается в своих стихах к Богу, который, как ей чудилось, как будто умер с его-то добротой, и это было не богохульство, это было самое настоящее сомнение в нем, оправданное тем злом, которое постигает нас с помощью нашего же добра.

Все понятно, мир полон сюрреализма. Случаен уход всякого человека. Никому неведом его путь. Неимоверно безлико грядущее. Одна лишь тихая грусть и эти скромные девушки, которые, как Эльза, все покорны моему горящему нутру, а в темноте их я собственными глазами вижу, как Эльза озаряет меня своим возвращением в Вечность… И зла скорбящие картины предсмертным сном летят в глаза…

Еще я чувствую, что меня скоро разоблачат, снимут с меня все одежды и посадят к глупым зверям в клетку… Может, поэтому я всегда ношу с собой капсулу с цианидом, ведь легче проглотить свою Смерть, чем мучиться бессмысленною жизнью, и потом Эльза все время ждет меня, и я это чувствую!… А там, в психушке, я уже был как обучающийся врач,

но не больной, и я там видел тех, кого проще назвать узниками собственного обмана и одиночества, чем психически больными. Ибо их болезнь яснее всего выражает боль отчаявшейся жить здесь Души, нежели чем все остальные пустые и равнодушные, живущие только для себя люди. Человек почему-то всегда тянется ко злу и влюбляется во зло, которое в нем таится с незапамятных времен.

Любовь зла – полюбишь и ко зла! – Гносеология фразы очевидна, человеческая любовь зла и тянется поэтому ко злу, в то время как святость – особое состояние души, когда возвышенная торжественность соприкасается с глубокой осмысленностью и постижением собственной жизни через чужую, даже уже заснувшую навеки вечным сном, обозначающий тот самый предел, ступив за который, вокруг остаются лишь тени, но тени познать ведь нельзя, они исчезают, как все, что прежде такою ж тоскою дышало… Вот эта безысходность поиска и означает для меня, как и для всех, начало зла… Человек живет, упираясь в тупик своего непонимания, и при этом ничего не может извлечь из себя, кроме ненависти к окружающему миру, а сплошная ненависть граничит уже с безумной тьмою паранойи, где воля твоего рассудка навсегда отдана в безызвестность тайного зла, свивающего свою пелену из безумия тех, кто устал от разума и от Бога, и от черта, и просто от безверия…

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.